
Наталья ГАЛКИНА

МОГАЕВСКИЙ

Роман

Тело этой войны еще не успело истлеть.

Эрнст Юнгер

Прошлое — это минное поле.

Юрий Лотман

1. ДВОРЫ. Andante

«Пьеса для пишущей машинки с оркестром»

Лерой Андерсон

«Есть книги, которые нужны, чтобы жить. Переплет, обложка, форзац, первое предложение — и чувствуешь ток жизни, словно бы прорвавшийся сквозь пелену сна, то есть некогда уснувший на время берложьим сном — и оживающий, начиная с глазного дна, с его потаенного омута, в который упали первые слова первой главы, если там есть главы или просто первые слова.

Конечно, важны, по обыкновению, и тема, и сюжет, и герой, но поначалу все обращено к чувствам, но и не только, к ощущениям: там идет снег, зимние синие тени от старых сараев лежат на снегу ланском в солнечный день января, там ставят посередине дома елку, пишут письма, там сахар тает в дорожном граненом стакане почтового дешевого поезда, а мимо окна за подстаканником проносятся алые, синие, желтые старинные сигнальные железнодорожные огни и железные чучелки стрелок, мелькают надписи („Не сифонь, закрой поддувало“), и дальние, светящиеся во тьме окна безымянных жилых мест, подобно звездам, плывут за перелесками, подают знаки, как звезды подавали некогда знаки мореходам, корабельным кормчим, тем, кто в море, в пути по волнам.

Не исключено, что у героя и героини, если там есть героиня (если там есть герой?), еще нет имен, истории, биографии, приключений, событий, а герой только надевает плащ, обмахнув притолоку двери полою, и автору прежде, как читателю сейчас, сказаны внезапно воплотившиеся в абзац первые таящиеся за текстом слова: „Следуй за мной!“»

Ему показалось занятым, что всякий раз, вспоминая сей панегирик книге, он забывал об эпиграфе. Эпиграф взят был из некоего увиденного давным-давно сериала по роману любимого автора юности Каверина, персонаж тридесятого плана, семистепенный герой фильма пел старинный романс (существовал ли и впрямь подобный романс в старину? или его сочинили на скорую руку композитор с приятелем, поэтом-песенни-

Наталья Всеволодовна Галкина родилась в г. Кирове. Окончила Высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухомой. Пишет стихи, прозу, занимается переводами. Публикуется с 1970 года. Лауреат премии журнала «Нева». Член СП. Живет в Санкт-Петербурге.

НЕВА 5'2021

ком?). Цитата неизвестно чего приведена была неточно, вместо имени автора под эпиграфом красовался заключенный в скобки знак вопроса.

Итак, перед словами «Есть книги, которые...» значилось (курсивом):

*Книга заветная, книга забытая,
Мною на тайной странице открытая...*

Он не знал, помнят ли настоящие писатели собственные тексты наизусть, у него не было друзей-литераторов, он прежде писал только научные монографии да статьи; он не вполне понимал, почему ему пришлось на ум написать роман, разве что догадывался. Однако успешно и последовательно скрыл сей факт от жены, друзей, коллег, сжег черновики, издал свое сочинение небольшим тиражом под псевдонимом. И теперь, преследуемый маниакальным страхом, что его авторство разоблачат, а также естественным приступом сознания несовершенства созданного и желанием исправить то, что исправить можно, он искал собственную книгу, чтобы уничтожить ее. На беду, издательство, с которым он сотрудничал, не поленилось отправить часть тиража в Санкт-Петербург; сочинив командировку, собирался он отследить, где продавался его роман, скупить еще не проданные экземпляры (он надеялся, что никому не пришлось в голову купить хоть один) и расправиться с ними.

Итак, прибыв с юга, где давно уже жил с семьей волею судеб и служебной необходимости, он ходил по городу своего детства, известного в полузабытые времена под именем Ленинград. Здесь еще пребывали друзья юности, знакомые, родственники; но нечто неузнаваемое разделяло его с пространствами, некогда бывшими жизнью.

Случалось ли вам, крадучись, посещать проходные дворы памяти вашей? Доводилось ли узнавать гулкие дворы-колодцы, связующие их арки подворотен, сквозные парадные, у которых два двусветных входа, а то иногда (дверь в боковой стене!) и три?

Двор дома, указанного ему однокурсником, был ему незнаком. «Старая книга», когда-то находившаяся на Литейном неподалеку от Невского, отползла с улицы в подворотню, ее сменило очередное продуктивное заведение с прилепившимися к нему магазинами, библиофилам пришлось отступить, филы с фагами еще пытались спорить, но силы их были неравны. Узнав нынешний адрес «Старой книги», он накануне осведомился у своего планшета, куда предстоит войти, увидел фотографию дома, мимо которого, конечно же, не раз проходил в юности, особенно не вглядываясь и не любопытствуя, красивый петербургский доходный дом, эклектика, модерн пока на подходе, маскароны фасада, бородатые красавцы, кариатиды с точеными лицами, младенцы, лев, драконы. С того момента, как обратился он от научно-технических проблем профессии к беллетристике, появилась у него привычка *собирать материал*; в соответствии с этой новообретенной привычкой узнал он, что архитектор Михаил Макаров жил за этим своеручно спроектированным и вычерченным фасадным великолепием, здесь же и прервалась его жизнь в сорок шесть лет после случившегося в 1873 году пожара. Фасад был свежевыкрашен, отремонтирован; перед аркою он помедлил, даже остановился, что-то помешало ему с ходу преодолеть подворотню. Постояв, глянул он назад, потом вперед, старая привычка походов юности, туристы цепочкой, взгляд на ведомого, взгляд на ведущего. Почему-то вспомнил он недавно прочитанные слова книжного графика Фаворского: «Обложка — своего рода портал». Наконец, оторвавшись от тротуара Литейного, он вошел и застал небольшой двор обшарпанным, неприглядным; стены, кое-как выкрашенные в цвет, не вполне соответствующий колеру фасада, исполнены были неухоженности, бедности, городской скуки и тщеты. Слева металлическая ажурная лесенка вела на второй этаж, где в бывлой квартире усилиями воли и фантазии проектировщика, а также стараниями строителей-гастарбайтеров одно из окон превращено было в дверь под небольшим легким козырьком, снабженную вы-

веской: «Букинистическая и антикварная лавка И. В. Чеха»; аккуратная яркая новая вывеска контрастировала с облезлой стеною. «Интересно, — подумал он, — не в этой ли ставшей лавкою квартире проживал архитектор Макаров? Не в этой ли части дома двести лет тому назад боролись петербургские пожарные с огнем?»

Поднявшись по лесенке, отворил он дверь и вошел.

Звякнул над головой извещающий о новом посетителе колокольчик, поднял глаза на вошедшего сидящий в левом углу за старинным письменным столом хозяин лавки, продавщица за прилавком продолжала бестрепетно перекладывать книги, четверо игроков в карты за столом посередине комнаты под лампою ни малейшего внимания ни на кого не обращали, занятые игрой и собою четыре фигуры, подобные актерам неведомой пьесы театра в театре.

— Во что они играют? — спросил он хозяина лавки. — В штос?

— В деберц, — отвечал Чех.

И пояснил:

— Это почти то же самое, что терц.

— Я и слов-то таких отродясь не слышал.

— Терц придумали в девятнадцатом столетии арестанты сибирских тюряг или острогов. Вы играете в карты? Знаете, что такое прикуп?

— Нет, не играю. Помню только присловье: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи».

— Осторожная поговорка.

Подобно тому как оба названия карточных игр для советского и постсоветского научного работника (ныне по совместительству беллетриста) проходили по разряду китайской грамоты, сам он в свою очередь являлся такой же китайщиной для хозяина лавки, ну, полная шинуазри: торговец букинистическими изданиями и антиквариатом по фамилии Чех хорошо разбирался в людях, как всякий, чья профессия связана с общением, с толпами; ему было непонятно, кто перед ним.

Вошедший не стал шарить по притягательным для библиофилов книжным полкам, не стал разглядывать картины, гравюры, предметы разных времен, исполненные обаяния прошлого, флера истории, собственных и хозяйских судеб, отпечатков пальцев, пыли эпох; однако вошел именно в эту дверь, не поленился подняться по железной лесенке и произнес сакраментальную фразу-пароль: «Я ишу одну книгу. Точнее, две».

— Садитесь, — сказал букинист.

Теперь их разделял нагруженный бумагами, муляжами, мелочами, бронзовой чернильницей с фигурками на прямоугольном постаменте массивный толстоногий стол.

— Как называется нужная вам книга?

В этот момент что-то сказала хозяйину лавки занятая борьбой против библиотечной космической пыли продавщица, тот выскочил из-за стола, наш посетитель подивился внезапной прыти, с коей не просто толстый, а тучный, большой сверх меры человек («Обмен веществ у него, что ли, сдвинут?» — ему нравилось в разной форме вспоминать об отце, известном враче) взлетел на передвижную лесенку-стремянку, чтобы достать пару томов с полки под потолком.

— Извините, — промолвил Чех, стремительно вернувшись в кресло по ту сторону стола, — так каково название искомой инкунабулы?

— «Концерт для Эрики с оркестром».

Последовала пауза.

— «Эрика» в кавычках? — осведомился Чех.

— Пишущая машинка, на которой печатает героиня, — ее тезка, а в качестве эпиграфа действительно значится название произведения Лероя Андерсона «Пьеса для пишущей машинки с оркестром». Есть и второй эпиграф, две строчки малоизвестного романа. Первый абзац звучит так: «Есть книги, которые нужны, чтобы жить. Переплет,

обложка, форзац, первое предложение — и чувствуешь ток жизни, словно прорвавшийся сквозь пелену сна, уснувший на время в заметенной снегом берлоге — и оживающий, начиная с глазного дна, с его потаенного омота, в который упали первые слова первой главы, если там есть главы или просто первые слова».

— Какого года издания? Что за издательство? Кто автор?

— Автор Гвидо Могаевский. Вышла пять лет назад.

— О, но вы не туда пришли. Я не торгую современными изданиями.

— Мне указали ваш адрес.

— Нет, нет, вам надо в «Старую книгу», она в подворотне, арка во второй двор, дверь в стене, несколько ступеней вниз, подвал, низочек.

Он стал вставать, чтобы проследовать в низочек; тут Чех промолвил:

— Но что-то знакомое, чего я не могу вспомнить... Могаевский? Как будто я читал эту фамилию и начало книги. Но в руках ее не держал. У меня мусорная память на обложки с названиями.

— Отрывок был напечатан в знаменитом альманахе «Макітра».

— Да, альманах мне и попадался.

— Вспомните, пожалуйста, где! Я ищу и книгу, и альманах. Дело в том, что я автор.

— Так вы и есть Могаевский?

— Гвидо Могаевский.

— Вы не местный?

— Местный, родился в Ленинграде, школу окончил, институт, но уже давно волею судеб живу на юге. Это псевдоним. У меня другая фамилия. Я долго не мог придумать псевдонима. Мне не хотелось подписывать беллетристическое произведение так же, как прежде подписывал научные работы. Еще важнее было то, что мне не хотелось компрометировать моего известного отца. Я изучал историю псевдонимов, выдуманных фамилий, имен, в частности имен пуритан. Я увлекся псевдоономастикой и, грешен, несколько раз устраивал себе командировки в Москву и в Ленинград, чтобы побывать в Ленинке, Публичке или БАНе, где удалось мне ознакомиться с «Библиографическим словарем русских писательниц» Голицына, «Опытом словаря псевдонимов русских писателей» Кардова и Мазаева, словарем псевдонимов советского библиографа Масанова, последний словарь выходил трижды, включал восемьдесят тысяч псевдонимов русских писателей, ученых, общественных деятелей. Главными причинами появления псевдонимов являлись страхи, сомнения, самолюбие, преувеличенное чувство игры. У Свифта, отличавшегося особой тягой к игре, было свыше семидесяти псевдонимов, у Вольтера свыше ста шестидесяти, в их числе и квазирусские (Иван Алетов, например), а Стендаль вообще мог творить только под псевдонимом ролевого характера, представляясь то кавалерийским офицером, то таможенником, то торговцем. Писательницы представлялись мужчинами из-за предвзятого отношения критиков и публики к пишущим дамам. Почему мужчины притворялись писательницами, ума не приложу.

Я углубился в тему по мере сил и возможностей, иногда в разговоре мог щегольнуть непонятными для собеседников словечками: геронимы, аллонимы, френонимы, геонимы, этнонимы, орнитонимы, фитонимы, палинонимы и тому подобное.

Не всегда можно было выяснить, кто скрывался за криптонимами N. N. (или N.), X., Y. или Z. Совершенно очаровал меня демарш Н. М. Карамзина, опубликовавшего повесть «Наталья, боярская дочь», подписав ее инициалами Ы. Ц., а «Бедную Лизу» — Ы.

Спокойнее всего чувствовал я себя перед комическими псевдонимами: Акинфий Сумасбродов (Сумароков), Фалалей (Фонвизин), Феофилакт Косичкин (Пушкин), Василиск Каскадов (Курочкин), Гайка номер 6 (Чехов), Гораций Ч. Брюква (Леонид Андреев).

Конечно же, меня подкупали длинные шуточные псевдонимы — под стать длинным старомодным многословным названиям книг: *Аверьян Любопытный, состоящий не у дел*

коллежский протоколист, имеющий хождение по тяжбленным делам и по денежным взысканиям. Или: Маремьян Данилович Жуковятников, председатель комиссии о построении Муратовского дома, автор тесной конюшни, огнедышащий президент старого огорода, кавалер трех печенок и командор Галиматьи (так подписал В. А. Жуковский шуточную балладу «Елена Ивановна Протасова, или Дружба, нетерпение и капуста»).

Именно в период поисков ключа к псевдониму я прочитал историю о двух остроумцах, остроумцах своего времени Булгакове и Маяковском. Одному из них при встрече (не помню, кому именно) пришло на ум посостязаться. Кажется, то был Булгаков, спросивший у Маяковского, какую следует ему дать фамилию персонажу, чтобы было понятно, что он ученый, а к тому же пренебрежительнейший человек; и получил ответ:

— Тимерзяев.

Но никакое изучение вопроса не приближало меня к цели. Я был в полном тупике, ни одной мысли о литературном nickname, и тут наконец попалась мне статья об именах пуритан.

Некоторые почему-то напомнили мне фамилии героев драматурга Островского: Кручинина, Незнамов. Подкидышей звали Helpless, Repentance. В точности повторяло наше имя Надежда пуританское Хоуп. И Вера, и Любовь тоже у пуритан существовали. Часть именослова, посвященная библейскому разделу, оказалась совершенно знакома, как всякому читателю переводных англо-американских текстов: Бенджамин, Обадиа, Самуил или Сэмюэль, Сара, Сусанна, Даниэль. А вот Лифт, Эфир, Шелковая Бумага, Ванильное Мороженое, Реформация, Мир, Освобождение, Дисциплина, Новая Радость поразили воображение мое. Кстати, вспомнил я рассказ одной моей тетушки, что с ней в довоенном советском вузе учились Трактор, Маркслен и Электрификация.

Думалось мне: связано ли имя Евангелина с Евангелием, а имя юного гения-математика Эварист с Евхаристией, и не было ли у него предков-пуритан?

Фантастичность обитала и в составных именах, уйма словечек через дефисы, и все это одно лицо: Прости-за-прегрешения (Sorry-For-Sin), Никогда-не-клянись — Айртон, Слава-Богу — Пеннимэн и еще один Обадиа с большим прицепом из псалма 149: Obadiah-bing-in-chains-and-their-nobles-in-irons — Needham. Последнего слова я не понял.

Полной загадкой остался для меня Зуриэл-Зуриэл.

Но именно прочтя статью об этих причудливых имяреках, я решил: мой псевдоним будет составной!

Последний слог имени и первые слоги фамилии будут созвучны фамилии моей милой приемной матери, любившей меня как родного, оставленной отцом ради третьей красавицы жены. Надо сказать, что главным в романе был образ моей родной мамы, и двойную несправедливость по отношению к матери приемной хотелось мне исправить хоть отчасти, показать, как я ее люблю. Ее фамилия была Домогаева; итак, стал я выбирать имя, оканчивающееся на «до»: Альдо? Альфредо? Могаевский возник в воображении моем сразу. На обложке книги, которую я ищу, значит: Гвидо Могаевский. Приемная матушка моя была в летах и нездорова. Я забрал ее к себе в наше южное ближнее зарубежье; когда я рассказал ей всю историю с псевдонимом, она очень растрогалась, расплакалась, потом заулыбалась. И она, и я не были склонны к прямым изъявлениям привязанности и нежности, но наши полузашифрованные косвенные были двоим нам понятны до глубины души. Она не дожидаясь выхода моей книги, не узнала, о чем роман, но я доставил ей радость, счастье минутное своим рассказом о псевдониме, о нелепом свидетельстве моей любви к ней.

«Вот скрывал, скрывал да мне, как незнакомому первому встречному, все и выложил», — подумал букинист.

Женщина у прилавка перестала перебирать книги и направилась к двери в глубине лавки.

— Свари и мне! — сказал Чех.

— Сегодня американо, — откликнулась она, исчезая за дверью.

«Интересно, — подумал писатель-неофит, — сколько теперь входов в эту бывшую квартиру? В старину в петербургских домах входа было два: парадный и черный, его так и называли „черный ход“, предназначался для носильщика, точильщика, разносчика, старьевщика, грядущей с рынка с продуктами кухарки. А тут в еще одну дверь превратилось окно второго этажа... И что там, куда пошла в глубину апартаментов продавщица? Кухонька? Склад книг? Запасник старинных портретов? Антиквариата? Малая комнатка для особых встреч и переговоров?»

— Не желаете кофейку?

— Я и так задержал вас своими рассказами. Простите. Всего хорошего. Пойду в «Старую книгу».

— Оставьте мне визитку, — сказал Чех. — Если найду альманах, что возможно, или ваш роман, что маловероятно, я вас наберу.

От двери он оглянулся. Ему показалось, что свет в лавке померк, точно в театральном зале, освещены были только фигуры игроков в деберц под старинным светильником на цепях; они по-прежнему играли молча, поглощенные друг другом и игрою, словно кемпеленовские либо гофмановские автоматы.

Колокольчик отметил звонком, напомнившим ему звоночек каретки пишущей машинки, отрезок времени, проведенный у Чеха. Легким звоном неуловимым исполнились ступени металлической лестницы, не потайной, более чем явленной, и ему почему-то стало не по себе.

Войдя во вторую полутемную арку, тотчас нашел он на правой ее стороне несколько ступенек в низочек под грифом «Старая книга».

Если древности прошлого вознесены были на второй этаж, пребывали в лабазе на воздушных, то вчерашний день современности вкупе с позавчерашним ютились в подполе. В первой большой комнате располагавшегося ранее на Литейном проспекте любимого горожанами магазина книжные полки начинались у входа, сплошные детективы на все вкусы. За прилавочком степенно разместились книги по искусству. В витрине иностранные *rocket books* и *livres de poche*, сверкающие глянец пахнущих помадой обложек.

Нет, нет, сказала продавщица, ни его романа, ни альманаха у них не было. Вздыхнув, двинулся он во вторую комнату к романам девятнадцатого века, папкам с гравюрами, предметам музейного толка; в отличие от изысканных недешевых вещей Чеха тут можно было увидеть старинные микроскоп с барометром, кузнецовские фарфоровые разделочные доски, навеки остановившиеся часы-луковицы, доисторические елочные игрушки. Верховодил в царстве полузабытого быта высокий костистый человек, кого-то ему напоминавший.

— Вы ищете нечто определенное?

Тут вспомнил он, на кого похож был продавец.

Бомбоубежище. Высокий худой «Филипп Собакин», который держит на голове прилипший к его шляпе низкий темный потолок. Страшно — вдруг Собакин уйдет?! Тогда потолок рухнет.

— Филипп! — крикнула продавцу продавщица из первой комнаты. — Завтра покетбуковскую Агату Кристи привезут!

— Ваша фамилия, случайно, не Собакин?

— Нет.

— Вы очень похожи на человека, которого видел я в раннем детстве в бомбоубежище в первую блокадную зиму. Его звали Филипп Собакин.

— Меня тогда и на свете-то не было. Родители уехали к бабушке на Урал в отпуск перед самой войной, я там и родился.

Он выбрал для младшей внучки куколку, барышню столетней давности размером с ладошку, с кудрями, с кружевными панталончиками из-под шелкового платица. Куколка была необычайно хорошенькая, но одноногая, единственная ножка обута в бархатный башмачок.

— Хочу вам помочь в ваших поисках, — сказал продавец-двойник. — Я вам дам рекомендательную записку для продавщицы магазина старой, букинистической, антикварной и рукотворной книги, что на Невском, три. Магазин во дворе.

Поднявшись из подвала под арку подворотни, развернул он листок и прочел: «Люся, помоги человеку!» Далее следовала нечитабельная витиеватая подпись.

Спрятав листок в карман, совершил он одну из постоянных своих ошибок: спутав «налево» и «направо», повернул не к лавке Чеха, а в противоположную сторону.

Открывшийся ему второй двор поразил его, заставил остановиться и оглядеться. Царство граффити, в котором оказался он в плену, неожиданное, навязчивое, разномасштабное, должно быть, не предполагало наличие путника, человека со стороны, рассчитано было только на своих, знающих птичий язык огромных буквцов, мизерных букв-букашек, кодов, символов, иератов, значений всех этих зю, зю-бемолей и ламцадриц. Возможно, тут шло некое сражение за настенное доминирование, своеобразная война престолов, стилей, направлений с полным пренебрежительным принципиальным отсутствием двух последних. Огромное косокривое LEPPA (он некоторое время вспоминал — что это, оспа, чума или проказа) возвышалось над выведенным проволочным маленьким полудетской руки лозунгом: «Вены дорог дороже». «МЕКС!» — восторженно восклицала одна стена; «MZACREW!» — возражала вторая. В ребусах аббревиатур, в россыпях алфавита, иногда образующих некие необратимые заклинания, иногда являющихся переводом с *кайсацкого* на *фарси* известной триады «Мене, Текел, Упарсин», он почти физически чувствовал, что превращается в знак препинания, в двоеточие, дефис, абзац, скобку, строчку.

В эпоху, когда был он подростком, надписи на стенах отличались лаконичностью: три буквы, и все тут, не играли шрифтами, не разбухали, не выламывались; а рисунки носили исключительно гендерный, как нынче говорят, характер: половые органы, да и все дела. Никаких драконов, полоумных рыб, перекошенных рож, непрошенных гостей. Никаких лозунгов, рекламных акций, протестов, намерения устроить непосвященных и высокомерия перед посвященными. Царапали ножом, выводили мелом, куском кирпича; какие краски? какие баллончики? Не приходило в голову любителям наскальных, то есть настенных меток тратить, да нечего было и тратить, бедность не порок. Просто помечали стену. Как метят углы и привратные тумбы бродячие собаки с трущобными котами.

«Как же несчастные жители?! — подумал он. — Ведь выглядывают же они в окна, выходят на улицу — и ежедневно видят э т о».

«И неужели, — подумал он, — никогда никто из милиционеров, городских чиновников, туристов, дворников не посещает этих мест? Впрочем, дворников теперь нет».

Несколько арок, словно сводов сообщающихся пещер, мечта спелеолога, выходили из второго двора согласно идее архитектора-проектировщика, и он снова выбрал не свою арку, вместо того, чтобы вернуться на исходную позицию с путем на Литейный, повернул в глубину неогутенбергова пространства, сверстанного в необоримо абсурдный антитекст абевеги.

И уловил его большой буквами третий двор в каменный мешок своей шелудивой шкуры.

Он начал было удивляться, что большинство слов, идиом, буквиз поменяли кириллицу на латиницу, но тут странные звуки попискивания, шамканья, аханья, нечеловеческого звукоряда мелодийки влились в его слух, а затем открылась оку возле левой торцевой стены неуместная фантазмагорическая сценка.

Прислонившись к стене стояла в чем мать родила татуированная девица, раскинув руки, перед ней толклись три парубка в черном, один с телекамерой, другой с издающим идиотские звуки приборчиком, третий, очевидно суфлер, раздувал в чугунке пары, мерзкий дурманящий запах плыл от вьющегося из посудинки дымка. Стоило девице пошевелить рукою, как ряды слов, слогов, картинок на стене оживали, тянулись к ней, вытягивались, выстраивались в иной порядок, словно управляла татуированная невидимыми постромками, дергала надписи за несуществующие веревочки или нервы.

И все это не в разгар белой ночи, не в центре тьмы Вальпургиевой первомайской, не в папоротниках купальской, а прямо-таки в эпицентре Центрального района Ленинграда, Петрограда, не просто Петербурга либо Питера, а Санкт-Петербурга средь бела дня.

Он вскрикнул, откуда-то из-за стены ответил ему глумливый хохоток, а суфлер закричал:

— Без посетителей! Без посетителей! Откуда ты взялся, лох поганый, хрен собачий? кто тебя сюда пустил? Пошел вон! Не мешай людям работать!

У него закружилась голова, он ринулся в ближайшую арку, которая — о, дурная бесконечность! — привела его еще в один обезображенный маленький, показавшийся тупиковым дворик.

Три тощих белых великана, три паяца на ходулях, фотографировались, припеваючи, на фоне испещренной разновеликими разноцветными буквами и словами стены вместе с карликом в черном, подставившим к трио библиотечную лесенку, взобравшимся на нее, кривляясь, воздевая к паяцам ручки, дрыгая ножками. Фотограф с треногою, укрытый черной мантией-тряпкою, подавал команды, запечатлевая всю компанию. В какой-то момент карлик вытащил из кармана карикатурных широких штанин мешочек, то был любимый модный «мешочек со смехом», и включил смех. Три паяца тоже включили такие же свои мешочки, очевидно, разных фирм, с хи-хи да ха-ха разной громкости, тембра и ритма. Карлик визжал от счастья, фотограф выкрикивал свое, и тут показалось ему, что он в аду, и он завопил во всю глотку, к великому удовольствию играющей в фотосессию четверки.

Отпрянув, увидел он, что и этот заколдованный страшными заклинаниями тупик вовсе не тупик, ему открылась очередная арка. Влетев в маленький узкий измалеванный двор-колодец, ища защиты, запрокинув лицо, глянул он в небо, и в прямоугольном, ограниченном жестяными кромками кровель небе поплыло над ним белое спокойное спасительное облако.

Облако указывало дорогу, он кинулся за ним, пролетел мимо паяцев, мимо татуированной ведьмы, дрессирующей россыпи слов, миновал дворик, вызывающий то ли к чуме, то ли к оспе, промчался через арку подвала «Старой книги», пролетел вход в лавку Чеха и выскочил на Литейный.

Чех, в этот момент поднявшийся из-за своего монументального письменного стола и задумчиво глядящий в окно, увидев несущегося через двор с перекошенным лицом чинного тихого недавнего посетителя, только головой покачал. «Говорил — живет на юге. Должно быть, не врут, что в том южном ближнем зарубежье после атомной аварии у каждого второго крыша поехала». И внутренний голос промолвил: «А у нас, по счастью, только у каждого пятого».

Выскочив на Литейный, наш герой после нескольких долгих вневременных минут стоял, переводя дыхание, чувствуя влагу футболки, пропитавшуюся тем, что в некогда читанных романах называлось холодным потом и казалось стилистической фигурой. Наконец двинулся он в сторону Невского, но остановился еще раз на углу.

Перекресток трех проспектов, два из которых были проспектом одним и тем же (Литейный, перебежав Невский, становился Владимирским; впрочем, подле храма Владимирской Божьей Матери менял имя еще раз, чтобы именоваться Загородным), тяготел

к постоянным переменам. Многие давно забыли или не знали вовсе, что Владимирский несколько лет носил имя большевика Нахимсона, а Литейный другого большевика Володарского, тогда как пересекающийся с ними Невский назывался проспектом 25 Октября, то есть по старому стилю календарному 7 Ноября. На одном из четырех углов перекрестка располагался известный в былые времена всему городу роскошный продуктовый Соловьевский магазин, тайный конкурент находящегося в трех кварталах по четной стороне Елисеевского, дважды пытавшийся вернуться на свое место, и не тут-то было, новое время выметало его в ничто старомодной ведьминской метлой. Через дорогу от Соловьевского давно уж отшумел прославленный завсегдатаями своими кафетерий «Сайгон». Где стоял, переводя дыхание, начинающий наш автор, долгие годы очаровывал горожанок душистым оазисом парфюмерный магазин под вывеской с загадочной аббревиатурой «ТЭЖЭ»; что до четвертого угла, меняющего магазины и магазинчики как перчатки, прилеплен он был к «Паризиане», обернувшейся было кинотеатром «Октябрь», наемни канувшим в Лету.

Однако главным свойством перекрестка было то, что он предназначался для прощаний, последних встреч, разрывов, расстаней, и три его ветви, кроме всего прочего, вели к вокзалам: Московскому, Витебскому и Финляндскому. Расставались бывшие влюбленные из «Сайгона», утирали слезы обманутые девушки, страдали покинутые кавалеры.

Давай еще раз простимся навеки на углу расстанного перекрестка, не зная, что прощаемся навеки. Подошел мой троллейбус, оказавшийся ладьей Харона, уплывая вдаль, ты помахал мне рукой.

Когда-то давно, до войны и в начале ее, в детстве, почти стершимся из памяти, этот район был его районом. Жили с отцом и матерью в квартире родителей отца в Графском переулке (позже переименованном в Пролетарский, затем в переулок Марии Ульяновой, потом снова в Графский), в доме Фредерикса. Фредериксов было несколько, он не мог запомнить, который являлся хозяином их дома: министр, барон, генерал-адъютант, шталмейстер или канцлер. Дом устоял во время блокады, деда не стало во вторую блокадную зиму, он почти деда не помнил, а после войны хаживал в гости к бабушке и тетушке в гости, сперва в Пролетарский переулок, потом в два последующих.

Почему-то лучше всего помнил он не прежнюю квартиру, в послевоенное время переменившуюся и ставшую коммунальной, а бомбоубежище, черное подземное царство, увиденное сквозь детские фантазии, детские и недетские страхи, обрамленное воем сирен, грохотом взрывов, образами кошмарного сна.

Стоя в душистых или удушающих облаках ароматов, вырывающихся из магазина «Сирень», вспомнил он, как нравилось ему старинное магазинное название «ТЭЖЭ», напоминающее любимые послевоенные конфетки-драже в коробочке вроде большого спичечного коробка, разноцветные веселые шарики. Случайно узнав, что «ТЭЖЭ» означает «Товарищество жиркости», был он разочарован, даже воображаемый вкус драже как-то померк, отдавая послевкусием женой кости.

Сам того не ведая, на перекрестке прощаний, на потаенных расстанях его, наш герой в некотором смысле простился со своей предыдущей жизнью и в предпоследнем неведении неспешно поплыл вверх по Невскому, где во дворе дома номер три собирался отдать записку незнакомке Люсе.

Путь от угла Литейного до Аничкова моста показался несоизмеримо долгим по сравнению с невеликим расстоянием знакомого маршрута; мелькнула мысль о сценическом времени, о литературном, — все-таки хоть и отчасти был он теперь писателем.

Думал он и о дворах, но не о тех, которые только что выпроводили его дурашливым механическим смехом, но о дворах как таковых.

В частности, о московских. Вспоминалась ему любимая картина «Московский дворик» Поленова, как объяснил экскурсовод, одна из лучших картин русской живописи. В поленовский московский дворик половником плеснули России, там кособорчик с зе-

леной травой, лужок, на котором сидит, вытянув ножонки, дитя, набирается мудрости, глядя, как шмель набирается меда; там задник поместья, сенная девушка с коромыслом, пересечения троп. В ином натуральном московском дворике можно было найти все тот же половник простора родины, деревянный флигель, малую церквушку вроде выросших подобно грибам из холмов беленьких невеликих новгородских храмов.

А питерские дворы-колодцы наливались летом и в белые ночи светом, отдавали его после круглый год, в их глубинах стоял белонощный неисчерпаемый воздух.

Что у нас там? Любимые брандмауэры и флигельки Добужинского? Башня алхимика-аптекаря Пеля, чьи кирпичики помечены недрогнувшей рукою таинственными цифрами, в коих, поговаривают, заключен код Вселенной? Группа скульптурных обезьянок в виноградных лозах? Пекарня с прачечной, снежный запах чистого белья, благоухание свежего хлеба? Гаражи для избранных? Плотницкая? Уцелевшая кузница? Одноэтажные и двухэтажные флигельки, где еще жив уют, не нуждающийся в доходных домах, где пока еще можно растопить печь-голландку или забытый камин?

«Почему бесы стенные пишут свои отрывочные слова и фразы латиницей? Протестуют против Кирилла и Мефодия?»

Расчетверенный конюший с укрошаемым конем Аничкова моста, удивлявший и очаровывавший его в детстве и в юности, встретился ему в зрелости в одном из первых путешествий в Европу, конь и конюший, укротитель или конокрад, покинувшие Фонтанку беглецы, поразили его внезапным появлением на других широте с долготой, как преследующие время от времени горожан неправдоподобные архитектурные сны.

Вот только на постаментах их не было выбоин, как у четверки с Аничкова, а также пояснительной таблички, поясняющей, что выбоины эти — следы обстрелов блокадных лет.

По Фонтанке на лодочке, позаимствованной на лодочной станции возле моста, катал он по фонтанным заколдованным водам реки судьбы любимую невесту, вскоре ставшую любимой женою. То были для рек и каналов тихие годы, никаких старинных деревянных барж с товарами и снедью, никаких прогулочных катеров, экскурсионных и свадебных «калош». Город лодочника и пассажирки выглядел совсем не так, как город пешеходов, набережных, мостовых, тротуаров, особенно хороши были увиденные, только голову запрокинь, гулкие изнанки мостов. Целовались ли вы когда-нибудь под мостами Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, или Крюкова, или Адмиралтейского каналов? А зимою в эру прочного ледостава рек на дорогах под мостами?

Угловая аптека исчезла. Он давно не ходил по Невскому. Лавка писателей, хоть была темна и закрыта, находилась на месте.

Свернув на Караванную, где в первом от проспекта дворе обитала его любимая тетушка, сестра отца, Анна, он было вознамерился навестить ее. Старинная лестница была крута, узка, невеликие своды ее монументальны и прекрасны, но никто не открыл ему дверь на звонки его. По счастью, ему было неизвестно, что недавно на первом этаже тетушкиной уютной лестницы повесили некоего молодого человека самым жестоким образом: повешенный почти касался, вытянув носки, пола, но, пытаясь на него встать, только затягивал петлю; ходили слухи, что с висельником расправились из ревности, был он будто бы нетрадиционной сексуальной ориентации, и то ли кого-то предпочел, то ли кому-то изменил. В неведении покинул он лестницу с легкими сожалениями и теплыми воспоминаниями о тетушкином неувиденном жилище.

Вернувшись на Невский, посожалел он и о пропаже магазина «Фарфор — стекло». Зато на месте оказался полуподвальный «Спорт — охота — рыболовство», где купал он разноголовые рыболовные колокольчики для любимой, а также совершенно натуралистических (поскольку рыбы, для которых наживка предназначалась, при-

знавали реализм и только реализм) пластмассовых больших мух-жужулиц, чтобы пошутить над нею, подложив муху в молоко или в мороженое. Впрочем, дни сего оазиса были сочтены.

В Елисеевском исчез большой аквариум с живой рыбою, чтобы вынырнуть, вернуться через несколько лет.

А вот и волшебное кондитерское заведение «Север», прежде носившее имя «Норд»; после ужасов войны и блокады ничего нордического в городе не должно было остаться. Они побывали тут с мамой Олей, полуподвал, окна серо-голубого стекла, фарфоровые огромные белые медведи; пейте гясе, клиенты, посетители, вы в безопасности, как в бомбоубежище, что там, за закамуфлированным светящимся окном, и не спрашивайте, забудьте, вон идет красотка официантка в белоснежном фартучке, накрахмаленный сахарный кокошник надо лбом, скажите ей волшебный пароль: «Эклер!»

Католическую церковь миновал он, по обыкновению, читая надпись на фронтоне: «*Domus mea domus orationis*»; перед ступенями толклись художники-халтурщики, продающие непомерного уродства картины с налетом невиданной красоты; всякий раз приходилось ему сдерживаться, чтобы не вляпаться в искусство, не купить одно из полотен в подарок жене.

Если мимо небольшой цвета небесного, трогательно бирюзовой армянской церкви, ввергнутой в глубину с линии домов проспекта, шел он с улыбкою, всегда случалось ему остановиться против Петрикирхе, даже подобраться поближе ко входу, постоять недолго.

В кирху ходил его дед и водил туда за ручку его маменьку.

Маменька была немка, звали ее Эрика.

Недавно появившийся возле Петрикирхе бюст Гёте напоминал ему деда.

Он глядел на дверь немецкого храма, всегда стаивал тут не меньше четверти часа, но внутрь не заходил никогда.

Перейдя Невский на углу, занимаемому некогда прекрасной «Демкнигою», где покупали календари, детские книжки, книги по искусству, невиданные репродукции, в магазине постоянно толклись переводчики, страны народной демократии издавали книги стихов современных поэтов всего мира, можно было найти романы и эссе на немецком, толклись и художники, круг постоянных посетителей, знакомых лиц, с которыми всегда раскланивался с улыбкою узколицый веселый продавец с торчащими вперед, словно у зайца, зубами, Сережа по прозвищу Зубки, стал он сожалеть и о магазине, и о продавце: Сережа осуществил в девяностые юношескую мечту — купил кожаный пиджачок, его нашли с проломленной головой, без этого, будь он неладен, кожаного пиджачка, о котором, видать, мечтал и его убийца; Сережа умер в «скорой» по дороге в больницу.

За «Демкнигою» когда-то привлекало богатеньких модниц шикарное дорожное ателье «Смерть мужьям». Вторая жена отца Ольга за фешенебельными прикидами советских лет не гонялась, так же как и Эрика. Он старался не вспоминать о матери, хотя мыслей его прочесть никто не мог, о них и речи не было, отец взял с него слово, что он никогда с ней не увидится и никогда не станет искать встречи с ее родственниками.

— Ты мужчина, — сказал отец, — и должен слово держать.

А сама Эрика когда-то говорила ему:

— Ты немец и должен слово держать.

Помедлив, он перешел Невский по тому же переходу, вернулся, чтобы пройти мимо доски, оставленной на доме с военных времен: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Как всегда, около надписи лежали цветы.

Оказавшись сызнова на нечетной стороне, оглядел он кассы Аэрофлота, их венецианский дворец дождей принимал он в юности за здание банка гриновского «Крысо-

лова», затем остановился у дома номер пять, где некогда красовался любимейший Учпедгизовский магазин наглядных пособий, куда хотелось зайти словно бы вовсе без цели, ради одного только удовольствия, то был не то что маленький храм науки, а вроде как ее натуральное наглядное пособие. Все очаровывало его: скелет в углу, сложенный из пазлов торс из папье-маше, чьи части вынимались, открывая по мере необходимости бутафорские потроха — сердце, легкие, кишки, печень, селезенку, все разноцветное, лакированное, поблескивающее. Таблицы, развешанные по стенам, являли оку географические, астрономические, исторические картины. Эмбрионы (или все же эмбрионы плавали в прозрачных банках там, за Невою, в Кунсткамере?), заспиртованные змеи, глисты, черви, коллекции бабочек, жуков, минералов, электрические игрушки, чьи молниеподобные разряды зримо доказывали существование электричества, чучело глухаря; а колбы всех форм и размеров, бюретки, пробирки... Будь у него деньги, он купил бы себе несколько учебных пособий, но денег не было, да он и не знал, имеет ли право частное лицо, не достигшее совершеннолетия, в сем волшебном месте обзавестись черепом либо заспиртованным чудом природы — или их выдают только представителям народного образования. В конечном итоге, уже будучи студентом и заядлым туристом, он купил два компаса: себе и любимой девушке, которая после нескольких общих походов стала его женой.

Он увлекся туризмом в последних классах школы, городские соревнования по спортивному ориентированию, но и не только, кроме хождения по азимуту с точным определением расстояния до секретки с указанием координат последующей части маршрута, требовалось на время правильно сложить рюкзак, зажечь единственной спичкой костер под морозящим дождем, поставить палатку, залезть на дерево, претерпеть испытание под названием «переправа». В те годы словно вся страна помешалась на туризме, значки, маршруты, команды, тройки, одиночки; что это было? Молодежный протест против «мещанского уюта»? форма бродяжничества? тяга к кочевью? игра то ли в партизан, то ли в индейцев? не горожане, не труженики расформированных эпохой деревень: крутые, бывалые ребята — туристы! Свои герои, свой фольклор, свои охотничьи рассказы, свои песни. «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою?», «Сиреневый туман», «Если им плохо, не плачут они, а смеются...» и т. п., — сентиментально, мило, как бы романтично. Окуджаву почти не пели, то ли он возник позже, то ли сочинял для других. Зато задолго до рэпа горланили ничему не подобное хор и солисты рэпообразное: «С деревьев листья опадают, пришла осенняя пора, а я, молоденький мальчишка (лет семнадцать, двадцать, тридцать), на фронт германский ухажу!» Далее следовало описание переполоха в доме новобранца: «Мамаша в обморок упала (с печки на пол), сестра сметану пролила. Мамашу с пола подымите (взад на печку), сестра, сметану подбери (языком)». Последующие сцены включали армейские будни и военные действия: «Здорово, братцы-новобранцы, мать вашу! (вашу тоже)» {...} «Бежит по полю санитарка, звать Тамарка (в больших кирзовых сапогах) (...) Бежит по полю Афанасий, восемь на семь (метров морда)»...» И тому подобное. Звучал макаберный романс: «Когда ты умрешь, когда мы все умрем, приходи ко мне, погнем вдвоем».

Некое событие отменило для всей его туристской компании этот бобок-романс, как все другие полуромансы и гимны-песни, а для него с невестой весь многолетний сюжет с рюкзаками, палатками, картами, кострами, сиреневым туманом.

В начале 1959 года в первые дни февраля на Северном Урале в Ивдельском городском округе, между горой Холатчахль и безымянной высотой 905 погибла группа туристов; кажется, то были начинающие альпинисты. Трагическая гибель студентов при загадочных обстоятельствах стала одним из засекреченных событий для узкого круга лиц. Хоронили погибших в закрытых гробах, одну из двух девушек нашли без глаз с вырванным языком, у другой, по слухам, вырезана была на затылке пятиконеч-

ная звезда. Слухи, желание родственников и близких выяснить, что случилось с группой Дятлова (так называли этих девятых по имени руководителя, а потом и перевал, подле которого застала их страшная смерть, назвали перевалом Дятлова), сделали эту историю достоянием всей страны, о происшествии знали альпинисты, туристы, геологи, археологи, биологи, ботаники, каждая и всякая экспедиция обсуждала этот мрачный реалити-детектив без разгадки, развязки и наказания убийц. Позже возникло даже негласное сообщество исследователей «Перевал Дятлова», пытались найти свидетелей, писали книги, по-разному трактовавшие происшедшее, проводились гласные и негласные конференции, на которых обменивались мнениями, рукописями, сначала только самиздатовскими, потом изданными малыми тиражами. В местах, где погибла группа Дятлова, находились: гулаговский Ивдельлаг, ракетодом — на некотором расстоянии, — на котором испытывались разного рода ракеты, гора Мертвецов, поселение манси, пещерное мансийское святилище, где приносились жертвы разного рода языческим божествам (ходила легенда, что «туристы осквернили святилище, разграбили, взяли принесенное в жертву золото», а за это манси во главе с шаманом «их угробили»), немецкий бункер (некоторые говорили «фашистский», он недоумевал: откуда под Свердловском мог таковой взяться?), секретный аэродром, а также тайные тропы, урочища да лабазы охотников-хантов, браконьеров, снежных людей и золотодобытчиков.

Однажды, будучи в командировке в Свердловске, он попал на конференцию из вышеупомянутых, проводимую в выходной день в одном из НИИ. Среди версий, озвученных докладчиками, были естественно-природные (лавина, ураган, мороз), криминальные (нападение беглых эзков, гибель от руки манси, ссора между туристами, нападение браконьеров-сотрудников МВД), «техногенно-криминальные» (испытание нейтронной бомбы в районе Плесеца, очередная авария с ядерным топливом в закрытом Озерске), шпионские (с десантом шпионов иностранного государства, со встречей со шпионом при передаче «контролируемой поставки»), мистические и фантастические (нападение йеху, то есть снежного человека, нашествие инопланетян, восстание духов горы Мертвецов, где в недатировые времена уже погибли девять человек, а дятловцев тоже было девять).

В перерыве между заседаниями участники были приглашены на чай в местный буфет.

Он оказался за одним столиком с лысым человеком в очках, и они разговорились.

— Вы из Свердловска?

— Нет, из Ленинграда. Я впервые на таком мероприятии, почти случайный слушатель, я тут в командировке.

— Что значит «почти»? — поднял брови его собеседник.

— Видите ли, я из компании туристов, несколько лет ходившей в походы в разных частях страны. А когда погибли дятловцы (мои ровесники), стали мне сниться кошмарные сны, хотя к трактовке снов и страхам был я не склонен, мы с моей невестой, девушкой из нашей группы, в этих снах оказывались в заснеженной палатке среди дятловцев, я слышал сквозь вой вьюги шаги и голоса подходящих к палатке убийц, просыпался с криком, сны повторялись, и меня одолел такой страх за судьбу любимой девушки, что я поклялся покончить с походами и увести из нашего туристского братства мою любимую под благовидным предлогом. В качестве предлога сделал я девушке предложение, последовали смотрины, знакомство родителей, свадьба, обмен комнат, переезд и тому подобное, — и семейная жизнь вкупе с новой работой, из которых испарились познакомившие нас туристские приключения. Скажите, а у вас есть своя версия происшедшего с группой Дятлова?

— Да.

— И какова она?

— Очень простая: все версии верны, но сплетены между собой не так, как можно себе представить. Сначала об инопланетянах, которых давно уже носит над нашими головами; если они и пролетали в тот момент над горой либо перевалом, то вели себя скромно, традиционно: глядя на человеческие забавы, инопланетяне репу чешут, буркалы протирают и чакрами трясут. Йеху вкупе с менквом, похоже, тоже в числе неподсудных. Авария с радиацией (а следы радиации найдены были на остатках одежд всех дятловцев) произошла за год до событий на перевале в Озерске, и следы ее можно было найти на половине Урала несколько лет. Шпионы, конечно, могли по Уралу шляться с дозиметрическим заданием, чтобы разведать степень последствий озерской аварии (кстати, один из дятловцев, Кривонищенко, был в числе ее ликвидаторов), даже стащить что-нибудь из одежды ребят, дабы изучать следы атомного происшествия годичной давности дома на досуге. Охотники манси присутствовали, знали, что произошло и почему, но от страха молчали и продолжают. Заключение включены в события, участвуют в их цепочке, виделись со студентами в поселке Ивдельлага, возможно, входили в группу киллеров. Браконьеры же являются первопричиной произошедшего.

— Помилуйте, — перебил его наш герой, — какие браконьеры? Об этом сегодня речь шла. Там не на кого охотиться.

— При чем тут охота? К теме данного браконьерства относится последняя мистическая линия версии и ее главное действующее лицо — *Желтый дьявол*.

— Но... «желтый дьявол» — ведь это золото?

— Именно. Знаете ли вы, какое наказание предусматривалось в те годы за незаконную добычу золота? Что за это полагалось?

— И что же?

— Вышка, молодой человек, высшая мера наказания — расстрел. Студенты-дятловцы могли узнать или увидеть о добыче золота лишнее. На уральских реках золото мают круглый год.

— Но не зимой же.

— Круглый год. Зимой в том числе. Ходили слухи, что Игорь Дятлов повел свою команду не просто в поход энной сложности с ночевкой зимней на горном склоне и лыжной дистанцией определенной, за что ребята должны были получить значки туристские (или даже альпинистские) следующей категории, но что у них было некое секретное задание. Возможно, помешать встрече шпионского характера. Или разведать, не ведется ли в определенном районе нелегальная добыча золота. И они не просто увидели и отчитались, как положено наблюдателям, но решили инициативу проявить. Однажды на одной из наших конференций прозвучало сообщение, что они побывали в конце января неподалеку от поселка лесозаготовителей Сорок Первый Квартал в знаменитой Ушминской пещере (она же Лозвинская или Шайтан-яма), даже фотография прилагалась с одной из их пленок. Потом, как я ни старался, как ни расспрашивал, сколько ни читал материалов общества «Перевал Дятлова», фотографию эту найти не смог, текста о пещере тоже, только некую цитату один из докладчиков зачитал: «Манси, путешествуя по Лозье мимо Ушминского святилища, высаживали женщин и детей за два километра от пещерной скалы, чтобы те обходили священное место сперва болотистым, потом густонаселенным берегом, и им запрещено было даже смотреть в сторону капища». А в потерявшемся дневнике одной из девушек было написано, что в пещере, кроме неких полугеометрических идолов и знаков, находилось шаманское захоронение, нечто вроде мумии шамана, а в качестве жертвоприношений, кроме непонятных предметов, веток лиственницы, птичьих перьев и тому подобного, лежали горсти мелких золотых самородков, золотого песка, колчедановых блесков, кристаллов в породе, напоминающих алмазы в кимберлите. И то ли взяли понемногу каждый себе на память, то ли запаковали все чохом, чтобы сдать государству. На следующий день совершен был пеший переход вверх по Лозье к заброшенному поселку золотодобытчиков Вто-

рой Северный. Тех, кто отвергал в гибели студентов «мансийский след» (хотя следствие в 1959-м началось с ареста манси, их допрашивали, даже пытали, да все безрезультатно, отпустили их в итоге), утверждали: это мирный неагрессивный северный народ. В то время как с довоенных времен в памяти многих геологических партий осталась история про женщину-геолога, дерзнувшую посетить по неведению одно из святилищ, в результате утопленную мирным народом. После посещения пещеры сперва отправились в поселок лесозаготовителей Вижай, потом сложили рюкзаки на подводу и двинулись в заброшенный поселок Второго Северного рудника, входивший ранее в систему Ивдельлага. Поселок был пуст, дома безжизненны, полуразрушены, однако имелись сторожка (то ли Сторожа, то ли Лесника, который то ли был, то ли нет) и целехонькое, в полном порядке пребывающее кернохранилище с кернами, образцами пород. Один из кернов туристы разобрали по кусочку, каждый положил в свой рюкзак частички его со следами пирита и с искрошенными кусочками сульфата меди, антидота от ожогов и отравлений белым фосфором; последнее звучит как напоминание, что в Уральском политехническом читал лекции по радиобиологии Зубр — Тимофеев-Ресовский. Заболевший или сказавшийся больным Юдин по поручению или с разрешения Дятлова путь на Холатчахль с группой не продолжил, уехал с образцами из кернохранилища назад в Вижай, а затем в Свердловск. Возможно, в одном из поселков обнаружено было ребятами таемное припрятанное золото, к нему добавили находки Ушминской пещеры. В керне могли быть халькопирит, серебро, радий, палладий, осмий, следы пород россыпных приисков на притоках Лозьвы, где добывали золото, платину, бриллианты. И вот этот самый керн, не считая остальных вещдоков, посланных на Большую землю с Юдиным, был знак о лишнем знании, то есть смертный приговор. Я понять не мог долго, почему выживший Юдин потом повторял (и на каком жаргоне?): «Их зачистили...» Цепочка черных золотодобытчиков, слишком разветвленная и длинная, вела в Москву. А там те, кто знал о происходящем и хотел бы, чтобы его не было, не мог разрубить коррупционную схему быстро, нужны были ходы, как в шахматах, и время, как в росте кристаллов. И что же — из-за каких-то девяти молокососов этакой толпе всех уровней и широт под вышку идти?

— И вы написали книгу об этой вашей версии?

— Почти дописал. Собираюсь напечатать малым тиражом и припрятать, чтобы никто не нашел. Знаете, в этой мрачной детективной истории есть еще почти невидимые действующие лица, которые сами видят все. Лесник, охраняющий кернохранилище, Проводник, показывающий всем (самим студентам, тем, кто их преследует, потом поисковикам) мансийские тропы, Охотник, возник и снова канул в Лету этот Охотник, видевший издали склон горный, черные фигурки на белом снегу (известное видение), где одни человечки забивали других насмерть дубинками. Охотник, стоявший на опушке леса, ретировался: быстрее, быстрее в лесную глубину, не было меня тут и ничего я не видел. Летчик, с которым встречался Дятлов, мне сверху видно все, ты так и знай; Летчик после гибели дятловцев начал проводить собственное расследование и вскоре разбился на своем самолете, а его приятель Следователь покончил с собой. Потом через годы вынырнул из небытия еще один Охотник (у которого Свидетель рассматривал шикарное дорожное иностранной марки охотничье ружье), сказавший: «Да слышал я. слышал историю о погибших студентах. Они осквернили мансийское святилище, манси их выследили, шаманы напустили в палатку дурманящий дым, а потом всех туристов угробили». Еще помню я рассказ о том, как дятловцы смеялись над «гостиницей», где поселили их в Вижае, ничего себе гостиница, обшарпанная изба с железными кроватями. А гостиница была для приезжавших к арестантам за тридцать земель женщин, жен или подруг по переписке, домашняя еда, своя женщина под боком, свидание на три дня. Слушавшие их эки чувствовали к этим заевшимся маменьки-

ным сынкам неприязнь, да и девчонки были не марухи, не жены, не любовницы, а так, соплячки, задиравшие нос. Есть фото на крыльце этой гостиницы, где дятловцы стоят вместе с зэками. Сидели в Ивдельлаге уголовники, враги народа, дети врагов народа. Если хотите, наша невеселая история — еще и о войне разных миров: в одном манси со святилищами, менквом, духами, в другом заключенные от блатарей до страдальцев, в третьем честные начальники, в четвертом нечестные, в пятом прямолинейные дети-комсомольцы, не знающие жизни, и тому подобное вплоть до правительственных чиновников. Где живем? Где лоскуты разных миров, а между ними межи: дикое поле.

В дверях улыбающаяся девушка звонила в колокольчик.

— Все, кончилось чаепитие, пошли на конференцию.

— Нет, я уйду, у меня поезд скоро. Спасибо вам за компанию и за беседу. Желаю удачи.

Им оставалось только улыбнуться друг другу и разойтись.

Идя к выходу, прошел он мимо зала конференции и ненадолго остановился. В речь докладчика он не вслушивался, смотрел на фотографию диапозитива на экране, старое черно-белое фото с пленок дятловцев, должно быть, это Вижай. На крыльце темной избы («гостиницы»?) высыпавшие на крыльцо зэки, на переднем плане группа туристов с лыжами, ребята в светлом, зэки в прокопченных судьбою униформах черных ватников. Выглядят как волки и овцы, но улыбаются все и каждый. «Уголовники, враги народа, дети врагов народа... А моя мать? Не была ли она в Ивдельлаге? Могла быть где угодно. А сам я? Если бы не заступничество отца, оказаться я мог в толпе черных ватников».

Но время, сначала сжавшееся, подобно пружине, уже распрямилось, он почти опаздывал на вокзал, стал спешить и думать о предстоящей дороге.

Отца с его новой женою навещал он редко, с новоявленной мачехой всегда чувствовал себя неловко, она была приветлива, вежлива, холодна, однажды он явился раньше отца, не знал, о чем и как с ней говорить. Отец пришел мрачный и прямо с порога сказал: заходил в клинику кто-то из родных бывших моих вылечившихся больных, не знаю чей, не назвался, убыл, а для меня в конверте передал кисет с золотишком, возможно, краденым; денег за операции, все знают, не беру, самодельные торты и грузинских жареных поросят принимаю в качестве гостинцев, а до уголовных презентов дело пока не доходило.

Содержимое кисета отец высыпал прямо на скатерть. Маленькие тускло-бронзовые с желтизной асимметричные самородки, желтые дьяволята.

— Какая прелесть! — воскликнула третья жена отца.

— Что с тобой? — спросил отец, видя, что сына передернуло.

А он подумал: уж не из-за этих ли тусклых тяжелых зерен зверски убили дятловцев? И ответил отцу:

— Не знаю. Ничего.

— Я бы их с удовольствием куда-нибудь сдал, — сказал отец, — так ведь затаскают, не оберешься: откуда взял?

— Нет, нет, они чудо как хороши! — сказала третья жена, перебирая золотые комочки. — Их можно превратить в золотые коронки. Или в браслет, если найдется подходящий ювелир.

Она любила украшения.

— Не вздумай ювелира искать, — сказал отец, ссылая самородочки в кисет.

— Можно, я положу их в свою шкатулку с драгоценностями?

— Клади, куда захочешь. Что у нас на ужин?

— Сегодня домработница приходила, котлеты с пюре. И торт к чаю. Какие они тяжелые.

Последняя фраза относилась к содержимому кисета.

Выйдя за дверь, он услышал: «Я не хочу, чтобы в моем доме находился этот воровской кисет».

Фраза отца о доме и кисете возымела продолжение через двадцать пять лет, у его сошедшей с ума вдовы горсть самородочков ukrала одна из сиделок, все виды уголовщины так и липли к продуктам приисков, что не ново и не одно столетие людям явлено.

Увлечлись они с молодой женою прогулками по городским дворам, это скромное самодеятельное краеведческое увлечение отчасти заменило им былую страсть к туристским походам.

Особенно любимыми стали проходные дворы, из одного из них можно было попасть на три улицы (Восстания, Жуковского, Маяковского) и на один (Невский) проспект. Во дворе стояла краснокирпичная школа, благоухала пекарня, снежной белизной дышала прачечная, исходил бензином ореолом гараж, шумели деревья, тянулись толстые, толще слоновьих ног, трубы центрального отопления, таился мелкий невзрачный флигелек то ли котельной, то ли кочегарки, то ли уединенного домика старорежимного дворника. Эти мелкие домишки, окрашенные либо в тихий серый, либо в любимый петербуржцами и ленинградцами желтый, бедняцкий домик Петра Первого, подходящий по масштабу (как изба или чум) человеческому существу подобно петергофскому Монплезиру, — о, где вы?

Из окна на Тверской, где жил он с отцом и мамой Олей, видны ему были снег, забор, деревья, улица, ведущая к проспекту, любимый малый домишко. Он надеялся увидеть флигелек вновь, показать жене, но показывать было нечего, огромный новый дом стоял теперь на углу, занимая почетное место на двух улицах. Разочарованный, провел он ее к своей школе неподалеку от пропилей, где на первом этаже золотой антиквой на белом мраморе красовались фамилии золотых медалистов, в том числе его имя и фамилия; жена была в восторге.

Особо привлекали наших любителей пеших прогулок проходные дворы с секретом, с переходами, с двойным или тройным дном, отличительная черта нашего к в а р т и р н о г о города, проходимого, как во сне, насквозь: иногда следовало по лестнице черного хода подняться на чердак, пройти пыльные чердачные кубатуры, по другой черной лестнице (а то и парадной) соседнего дома спуститься на другую улицу.

Любимый многими, разнесенный репродукциями с открыток по всей стране «Московский дворик» Поленова напоминал *макет* России помещиц; не то петербургский двор, *модель* секретера с тайниками.

Хорош был случайно открытый ими двор со спрятавшейся от современности усадьбой Демидова в переулке Гривцова, прежде именовавшемся Демидовым переулком. А также единственный в своем роде полый двор на Чайковского с потаенными пространствами подземного лабиринта под ногами; мало кто знал о дворовой тайне, никто не следил за потолками гулкового подполья, пока однажды в отверзшуюся в его катакомбах яму не провалилась легковая машина.

Неподалеку от вышеупомянутого подземелья на четной стороне улицы встретило их, приотворив ненадолго обычно закрытые напрочь ворота арки, крылечко со скульптурами, с козырьком на колоннах, обвитых тщательно отмоделированными виноградными лозами, на которых сидели веселые южанки — обезьянки, басенные мартышки.

Волшебны были малые просторы с египетскими атлантами и непохожий на льва лев, таящиеся за фасадами неподалеку от Большого дома.

Еще одно крылечко со скульптурами животных встретило их в одном из загадочных дворов-янусов Галерной, занимавших весь массив, выходящих одной стороною на Галерную, другой — на Английскую набережную Невы.

Видели они воочию дворик послереволюционного Дома искусств с графического листа Добужинского (вот кто, похоже, знал о здешних дворах все, об их расцвете, о страшном времени их разбитых окон, порушенных статуй поры призраков былого); по одной из городских легенд, арестованного Гумилева расстреляли прямо в этом дворе, ни до следствия, ни до тюрьмы дело не дошло.

В предзакатные часы их встречали световые колодцы, хранители петербургских тайн, и стены их, увенчанные мезонинами, башенками, оконцами чердаков, напоминали сориентированные на явления звезд и фазы Луны монолиты Стоунхенджа.

Аршин-мал-Алан,
Хожу по дворам! —

пел он новобрачной своей, она смеялась, это ведь из фильма, из музыкальной комедии, но что за фильм и видели ли они его, оба не могли вспомнить.

В нашем бессолнечном городе, где солнечные часы смешны и нелепы, — куда падает тень Александрийского столпа, помечая время суток? Дай мне руку, постоим секунду в этой тени, точно фигурки средневековых заветных часов; нет, погоди, мы никогда не ходили за руку, я не знаю, какова рука твоя на ощупь, я схвачу тебя за рукав черного осеннего пальто.

Он вспомнил, откуда знаком ему адрес «Невский, три»: тут искали они пресловутый «Двор ангела» — и не нашли. По рассказам, вход в его узкое ущелье был в первом дворе, но никаких входов не находилось, проход в арку, казалось, был закрыт, заколочен лет сто. Он даже решил — может, речь идет об оптическом эффекте, в иные часы в одном из чердачных оконц потаенного колодца появляется отражение ангела Александрийского столпа с лицом царя? Здешние отражения иногда невероятно своеобразны, их местонахождение противоречит правилам оптики, логики и законам перспективы.

И все-таки — можно ли было по теням городских шпилей, памятников, отметок высот определить время суток? Города солнечных часов раскинулись в южных широтах, Путник, наш — город клепсидр.

Тут вошел он во двор Невского, три, в магазинчик «Старая книга», отдал записку Люсе, та только головой покачала, впрочем, пообещав навести справки у Ерофеева на Васильевском; отдав и ей свою визитку, вышел он из букинистического оазиса ни с чем.

Его окликнул знакомый женский голос:

— Боря, неужели это ты? Какими судьбами?

Перед ним стояла Валентина, поседевшая, улыбающаяся, с маленькой клеткой в руках, обитателем клетки был бирюзово-зеленый неразлучник.

Он совершенно забыл, что Валентина живет в этом доме, они с отцом и Ольгой всегда входили в парадную с Невского, но у парадной был второй вход со двора.

— Куда вы несете этого красавчика?

— В Александровский сад. Он там научился подражать журчанию и плеску фонтана, потешает народ, дышит свежим воздухом, составляет мне компанию. Ты в командировке? Надолго?

— Мой поезд на юг отходит сегодня.

— Почему не самолет улетает?

— Самолетом я прилетел. Мы с женой ездили в свадебное путешествие на южном поезде, я люблю это вспоминать.

— Идем пить чай. У меня к случаю шарлотка.

— А как же ваша прогулка?

— Завтра нагуляемся.

По лестнице столетней давности с пологими ступеньками подниматься было легко, они шли на последний этаж, на втором курили молодые люди, раскланившиеся с Валентиной.

— Они из журнала «Нева».

В окно Валентиновой комнаты виден был кусочек площади с Александровской колонной.

— Ты ведь теперь ректор одного из крупнейших вузов там, у себя, на юге?

— Откуда вы знаете?

— Борис рассказывал, они с Нюсей были в гостях у меня месяц назад. Он тобой гордится.

Ему было приятно это слышать, обычно это он гордился отцом.

Валентина была отцовская подружка детства, соседка по дому в Графском переулке, играли в одном дворе, возможно, отец был в нее влюблен, должно быть, в нее все были влюблены. На стене висела фотография, где проносилась она на роликах, цирковая гимнастка с сияющей улыбкой кинозвезды.

— Вы здесь похожи на Дину Дурбин.

— Да, мне говорили, но во времена этого фото трофейных фильмов еще никто не видел. А твоя мать Эрика походила на Соню Хени.

— Кто такая Соня Хени?

— Ты не видел фильма «Серенада Солнечной долины»?!

— Нет.

— Соня Хени играла главную роль, такая маленькая, задорная, с пушистыми волосами. Вообще-то, она была норвежская фигуристка. При этом любимая фигуристка Гитлера, даже с ним общалась. Во время оккупации Норвегии соотечественники стали называть ее «предательницей»...

Тут Валентина осеклась.

— Все знают, что моя мать была осуждена и отправлена в ГУЛАГ как предательница Родины за то, что в оккупации служила машинисткой и переводчицей в немецкой коммандуре, — сказал он. — Надо будет эту «Серенаду Солнечной долины» посмотреть.

— А ты помнишь, как мы с тобой и твоей мамой сидели в бомбоубежище в первую блокадную зиму?

— Смутно.

— Ты был маленький. Засыпал у Эрики на руках, да она и сама была небольшая, иногда я брала тебя спящего на руки, чтобы она отдохнула.

— Там был высокий старик в шляпе, стоявший посередине низкого бомбоубежища и державший на своей шляпе сводчатый потолок, его звали Филипп Собакин.

Валентина рассмеялась.

— Я дочь Филиппа Собакина, мы с Эрикой о нем говорили, старика в шляпе не помню, может, он тебе снился.

— Вы часто видите моего отца?

— Я его видела в последний раз еще до твоего рождения.

Последовала пауза.

— Вы только что сказали, что он недавно был у вас в гостях.

— Это Борис был у меня в гостях, а ты спрашиваешь о своем отце. Что с тобой? Так ты не знала?! И я проговорила? Я думала — теперь, когда ты взрослый, у тебя свои дети, это уже не тайна. Тебе нехорошо? Подожди, я тебе налью рюмочку, выпей.

Комната откружилась, попугайчик парил под потолком.

— Так я не родной сын? Приемный?

— У Эрики был роман, когда мужа послали в командировку, она Борису призналась, что беременна не от него, готова была к разводу, но он сказал: буду растить, как своего, а мальчик ничего знать не должен, и никто не должен.

— Бабушка знала?

— Нет.

— А тетя Аня?

— Нет.

— А мама Оля?

— Кажется, да. Вся наша компания знала, все молчали.

— А нынешняя жена знает?

— Думаю, знает.

— Валентина, кто он был, мой настоящий отец?

— Музыкант, еврей, скрипач филармонического оркестра.

— Но ведь я похож на отца...

— Дорогой, — улыбнулась Валентина, — просто Эрике нравились мужчины определенного типа. Скрипач с Борисом, пожалуй, и впрямь слегка походили друг на друга, я никогда об этом не задумывалась.

Он пошел на вокзал пешком по нелюбимой нечетной теневой стороне Невского.

Да, он дал слово, что не будет искать встречи с матерью, больше никогда с ней не увидится, но не думать о ней он не мог, не вспоминать ее он слова не давал, без мысли о ней, без образа ее он словно бы оказался без раннего своего детства, завис в пустоте. Чтобы вернуть до мелочей все, что он помнил о матери, снова обрести детские чувства и ощущения — раз и навсегда! — в слове, *чтобы жить*, написал он первую в жизни книгу, заветную, преданную было забвению, но обретенную навсегда. Там были пушистые волосы Эрики, он засыпал под звуки клавиш ее пишущей машинки (которую волшебным образом тоже звали Эрика, такая машинка казалась ему единственной в мире, а оказалось — их много), ее нежные легкие теплые руки становились стальными, она могла печатать часами. Там был запах юбки матери, особо помнилась кремовая, бежево-розовая в мелкий черно-коричневый цветочек, только вцепись — и ты в безопасности. Голос, певший ему песенки по-русски и по-немецки. Облако любви, окружавшее мать, в которое он входил, как в неподдельное счастье.

И теперь поиски этой не совершенной по сравнению с действительностью книги привели его в иную пустоту, в полную перемену участи.

«Кто я? человек под псевдонимом из города имени Ленского расстрела. Города партийной клички? Отец неизвестен, мать предала Родину, исчезла навсегда».

В его книге последние страницы посвящены были отъезду в эвакуацию после первой блокадной зимы, из льда, холода, голода, штабелей трупов во дворах, прислоненных к стенам выстуженных коридоров рядов мумифицированных покойников, из ужасов тумана, полного отлетающих душ мытарей и невинно убиенных, поезд неторопливо, неуклонно вливал в теплый воздух юга, благоухающий райскими фруктами, где выбегающая на перрон на станциях мать возвращалась с тремя неостывшими картофелинами, горстью черешен, светящимся яблоком, обменяв на них колечко или цепочку. До станции назначения поезд в книге не доходил, остановка отдалялась, точно линия горизонта: только движение, стук колес, уехали из ада в рай.

После очередного его ухода из редко посещаемой им квартиры отца третья жена спросила:

— Почему он всегда такой тихий, бесчувственный, неразговорчивый?

«Может быть, потому, что я когда-то запретил ему быть ребенком и даже вспоминать о годах, когда он им был?»

2. ПОЕЗД НА ЮГ. Presto alla tedesca¹

...Я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней полке моего купе, и вновь перед освещенными окнами, разом пересекающими и пространство, и время, замелькают повешенные, уносящиеся под белыми парусами в небытие, опять закружится снег, и пойдет скользить, подпрыгивая, эта тень исчезнувшего поезда, пролетающего сквозь долгие годы моей жизни.

Гайто Газданов

В конце концов стало трудно разобраться, кто куда собственно в этом поезде направляется.

Горан Петрович

Мать всеми силами спасала сыновей [...] В эвакуацию уезжали с Финляндского вокзала. В пассажирских вагонах до Ладоги (потом — только в телячьих вагонах). [...] По эвакуодостоверениям выдавали кашу с салом. Сразу много было есть нельзя, а остановиться было невозможно. У матери дикий понос. Ее хотели выкинуть из поезда на ходу — она ходила под себя. Спас ее спирт, который солдаты силком влили ей в глотку. Она долго лежала в беспамятстве, а потом пришла в себя.

Виктор Конецкий

По странному совпадению, говорила Валентина (она до самого его ухода старалась с ним разговаривать, чтобы вывести его из ступора, из оцепенения), во время давешнего визита Бориса речь зашла о поезде на юг, повезшим после первой блокадной зимы Нонну, его третью жену, тогдашнюю студентку-медичку, третьекурсницу, с тяжелобольным отцом в эвакуацию. В итоге поезд остановился на одной из южных станций, в Поворино; навстречу надвигались немцы, наступали быстро, пассажиров пересаживали в состав, идущий назад на север. Нонниного отца оставляли в пристанционной больнице, беспомощного, с высокой температурой, дочь плакала, он гнал ее: уходи, иди, иди, живи! Оставив его на больничной койке с зажатым в руке именным пистолетом, прижав к груди коробку с его последним подарком, нарядными бежевыми туфлями, она поехала вспять.

— Невероятно! — воскликнула Валентина. — Уж не ехали ли вы в одном составе с Эрикой и маленьким Борей?

— Нет, название станции другое, другая ветка, и наш поезд успел уехать, а она с сыном прибыла в только что занятую фашистами большую станицу.

Поезд набирал ход, мелькали вечерние огни Фарфоровского Поста, сознание его было непривычно нечетким, вялым, рассеянным.

¹ «Немецкое престо» — указание темпа в Сонате 25 Бетховена, в которой использованы темпы и ритмы немецких танцев.

«Что же это за поезда на юг, — думал он, — проехавшись в которых прибывают в предательство: дочь предает отца, моя матушка — Родину?..» Тут же пришло ему на ум, что матушка, оказывается, за несколько лет до начала войны предала мужа, а тот позже, много позже, предал женщину, вышедшую за него в трудную для него минуту, вырастившую его сына, закрутив роман с нынешней своей третьей женою.

Он думал все это как-то почти равнодушно, тихо, бесчувственно, никого, собственно, не осуждая.

«Но ведь мы-то с женой, — думал он, — в свадебное путешествие отправились именно на южном поезде, и это были счастливейшие дни, ни о каких предательствах ни тогда, ни теперь и речи не шло, мы вплывали из сырых холодных дней в волшебное тепло, покупали на станциях фрукты, малосольные огурчики, жердели, груши, семечки, розы».

Мимо промчался, прогудев, встречный.

«Надо же, — подумал он, — оказывается, во мне нет ни капли русской крови».

Напоследок мелькнуло: это его суждение о крови носит какой-то фашистский оттенок; и под стук колес провалился он в сон.

Снились ему игроки в карты из лавки Чеха, игравшие в неведомый ему деберц.

Он стоял возле стола, наблюдая за молчаливыми игроками, тщетно пытаясь понять смысл игры.

Один из картежников обернулся, глянул на него, он узнал офицера с ледяными глазами, определившего Эрику на работу в комендатуру, — и пробудился, вскрикнув.

Все вокруг спали, поезд со скрежетом и скрипом тормозил, никого не разбудил его возглас.

Телячий вагончик, в котором ехал он с матерью в эвакуацию (на пассажирском добирались только до Ладоги), был почти теплушка, с двумя печками-«буржуйками» по торцам, обращенным к тамбурам, широкой раздвижной дверью, нестругаными дощатыми нарами в три ряда, наполненный черно-серым народом, тюками, узлами, чемоданами, тьмою. Детные и страдающие поносом (несдержавшиеся, наевшиеся каши) ехали с ночными горшками. Время от времени состав останавливался вдалеке от станции, открывали дверь, бежали в кустики, в траву, на обочины полей, выливали горшки под насыпь; надышанный, исполненный смрада, нагретый «буржуйками» воздух улетучивался вовне, в темный вагон вливались свежие ветерки, чем ближе становился юг, тем теплее были токи воздуха, возникали в них незнакомые ароматы цветущих трав, медовой гречихи, лаванды. Тут, внутри, в набитом под завязку параллелепипеде, дышали, стонали, храпели, переговаривались, а там, снаружи, стояла тишина забытого за блокадные дни разлива, ни бомбежки, ни артобстрела, ни сирены. Чтобы он уснул, мать шепотом, чтобы не слышали немецкой речи соседи, прямо в ухо читала ему (как почти всегда на ночь) гётевского «Лесного царя», «Erlkönig»: «Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind...» Точно в шубертовской балладе стук колес подражал топоту коня, скачке, из космической тьмы тянулись руки и космы Ольхового короля, звездами горели очи его ведьмовских дочерей, ему становилось страшно, и, защищаясь, он засыпал.

Потом, полуребенком, полуподростком, живя уже с отцом, заболел он каким-то невероятным гриппом, с бредом, температурой под сорок; в комнате висели облегчающие дыхание тряпочки, смоченные скипидаром, на батареях мокрые полотенца, на запястьях его навязаны были полуспиртовые бинты, он не мог уснуть, попросил приемную мать прочитать ему «Лесного царя». С трудом поняв, чего он хочет, отыскала она томик Жуковского, стала читать: «Кто скачет, кто мчится под холодной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой». Мальчик расплакался, едва она дочитала. «Что ты, что с тобой?» — «Это не тот „Лесной царь“». Она не понимала. В прочитанном ею тексте младенец умирал от болезни, от лихорадки, от бредовых видений; а в матуш-

киной немецкой страшной сказке — от колдовства, от настоящего зловещего Лесного царя. «Не тот?» — переспросила она, не понимая. Но его уже охватил рефлекторный страх, таящийся в ореоле баллады, он уснул, как провалился; к утру температура стала спадать.

Уснув в теплушке на пути в тихий теплый рай, он спал долго и проснулся от дальних выстрелов. Где-то впереди, там, куда они ехали, стреляли. Поезд некоторое время еще мчался, потом стал сбрасывать скорость, наконец остановился. Снаружи слышались шаги бегающих взад-вперед людей, крики. Большая часть криков по-немецки. Люди в теплушке, лишившись дара речи, молчали, сидели, оцепенев. Снаружи двое полицаев (тогда еще такого названия никто не знал) раздвинули ворота-двери, раставив их, точно занавес театральный, на две части, и один из них, левый, сказал: «Слезай, приехали».

Станция была занята немцами, пассажиров изгоняли из вагонов, они шли сквозь чужую речь по перрону, в конце которого поток идущих делили на разные ручьи, тех налево, тех направо, этих прямо. На фонарях, украшающих перрон маленького городка или станицы, висели белые босоногие фигуры повешенных. Он загляделся на них, они походили на елочные игрушки, белые фигурки из ваты, политой прозрачным клеем, с елки дедушки-немца. Мать привычным жестом закрыла ему глаза ладонью, как всегда закрывала в блокаду, чтобы не видел он особо страшных покойников, слишком яркую кровь, свежие руины; он прижался к ее юбке, зажмурился, шел с нею вслепую, пока их часть колонны не остановилась. Тут услышал он голос офицера, четкую, чуть грассирующую, идеальную немецкую речь:

— Где эта маленькая блондинка подцепила еврейского мальчишку? И почему тащит она с собою пишущую машинку?

Не раздумывая, спонтанно, Эрика ответила по-немецки:

— Я никого не подцепила, это мой сын, я немка, муж мой русский врач. А машинка у меня с собой потому, что я машинистка и надеялась найти работу в эвакуации.

Ладонь маменьки перестала закрывать ему лицо, он глянул на немца в офицерской форме. Глаза офицера, ледяные, светло-голубые, страшные, прожгли его насквозь, подобно взору Лесного царя, вскрикнув, уткнулся он в материнскую юбку.

Офицер усмехнулся.

— Как вас зовут?

— Эрика.

— Фрау Эрика, мне нужна машинистка и переводчица. Вы печатаете на немецком?

— Да.

— Завтра в девять утра вам надлежит явиться в комендатуру, вы там будете работать. Ганс, отведи ее к фрау Ключе на постой.

Дом, в который привел их солдат, стоял на окраине станицы (или станции?), где каменных домов не встречалось, деревянные избы, белые мазанки, деревня деревней.

Христину Ключе, высокую худую женщину в летах, соседи звали Ключвиной. Так звали и мужа — Ключвин, немца из одной из южных колоний, отправленного вместе с сыном в один из дальних лагерей, как многих советских немцев за то, что они — немцы; так и говорили: «у Ключвиных».

На топчан и диван постелила Христина сеники в ситцевых наматрасниках, сеники пахли медом, тмином, лавандой, мятой, ромашкой, почти неуловимым запахом не выдохшихся с прошлого или позапрошлого лета трав. Его уложили, засыпающего за ужином, он уснул тотчас. Ему не пришлось даже рассказывать на ночь страшную сказку.

— Этот офицер, что вас ко мне определил, жил у меня сутки, когда они заняли станицу. Потом переехал в центр, в особняк, старинный каменный дом с колоннами купца Громова, до комендатуры полквартала.

— Он велел мне утром явиться в комендатуру и там работать машинисткой и переводчицей.

— Я тебя разбужу, скажу, куда идти. Вечером к нему гость приходил, чудной такой офицер, красавец, как наш этот, но в другом роде, был здесь проездом, к ночи ушел, уехал. Я по-немецки понимаю хорошо, но у меня произношение неправильное, муж всегда смеялся. Так вот эти два красавца фашистских сидели тут, чистенькие, аккуратненькие, пили наливку с самогоном, открыли консервы, кители на спинки стульев повесили, беседовали сперва незнамо о чем, веришь ли, о музыке, о насекомых, о породах собак, как во сне, будто бы и войны нет, а натурально мирное время. А потом от композитора Вагнера перешли почему-то на евреев, кажется, потому, что Вагнер их не просто не любил, а терпеть не мог. Тут уж наш супостат разговорился, а проезжий слушал, слушал, стал смеяться и нашему сказал: «Про тебя болтают, что ты высокоталантливый нацист, то есть если у человека прапрабабка была еврейка, ты по одному тебе известным приметам внешности и повадок, да еще по врожденному чутью — так, извини, дрессированные свиньи под землей трюфели чуют — это угадываешь». Что с тобой? Ты бледная как смерть. У тебя, часом, прапрабабушка не еврейского ли рода?

— Мне нехорошо, — отвечала Эрика, — голова кружится, слабость, ведет, словно сейчас упаду, это у меня после блокады. Я чистокровная немка, мои предки тоже, а муж мой русский военный врач.

— Иди-ка ты, арийка, спать, на тебе лица нет.

Теперь иногда Христина рассказывала ему сказку на ночь, подменяла Эрику, дай я тебя подменяю, расскажу, внуков вот не вышло, мне с дитем в радость, он у тебя еще не отрок, младенец. Так, кроме принцессы Мелисанды по прозвищу Заза, доблестного рыцаря Бубеля, Крысиного и Ольхового королей, лютепов с катапанами, Синей Бороды, придуманных Вильгельмом Гауфом Маленького Мука, карлика Носа, калифа-аиста, Альмансора, Железного Генриха, явились в вечернее сознание его Медведь с отрубленной, ныне липовой ногою (этого Медведя — инвалида с протезом — особо боялся он и жалел до слез), Волк с от мороженным хвостом, порушенный Теремок, Василиса, Догада, Пых, Илья Муромец, калики перехожие.

А потом Христина из разрисованного цветами сундучка достала меленку, рождественскую вертушку, кубарика, ваньку-встаньку, кувыркана, все сделаны были вручную ее мужем для любимого сына.

Поезд уже разогнался, миновав жилые места, окрестная тьма сгущалась, стучали свое колесо: трам-тарарам, в тартарары, к татарам, к татарам, к татарам.

Ванька-встанька, известный вся Руси с незапамятных времен, был склеенный картонный цилиндрок, обтянутый пропитанной рыбьим клеем кисеей с торцов; внутри него перекачивался свинцовый шарик, снаружи нарисованы улыбающееся личико, одежда, руки по швам. Христина пускала его в путь с наклоненной на столе книжки, он прыгивал с нее, перескакивая с головы на ноги, превесело продолжая путь свой по столу. Стоило его, стоящего, уложить, как тотчас он вскакивал.

Кувырган-гимнаст спускался по ступеням лесенки, тоже переворачивающийся с головы на ноги, с ног на голову, параллелепипед, всенепременное улыбочатое личико, зелено-алый мундирчик; прорези на торцах его головы и ног отвечали прорезям лесенки высотой в две ладони. Едва ставили его на верхнюю ступень, как он под тяжестью собственного веса перекувыркивался вниз головою на следующую ступеньку — и так далее до подножия.

Деревянный кубарик величиною с крупную сливу, волчок, напоминающий формою своей каплю с малой серебряной заклепочкой на острие, запускался небольшим хлыстиком; стоит только научиться запускать, кубарем катался, крутился, по полу, падал, устав вертеться подобно маленькой планете вокруг оси.

Детали рождественской вертушки вырезал мастер из золоту подобной консервной банки; на острие спицы на точке-вспарушинке еле держалась горизонтальная звезда с наклонными лопастями (настоящая Вифлеемская звезда, вертикальная, крепилась на спице ниже, почти на уровне двух тонких свечек — елочных? церковных?). Зажигались свечи, подымался от них ток теплого воздуха (невидимая почти дрожь воздуха словно над костром), воздушная струя приводила в движение звезду с лопастями, та вращалась, вертелась, на краях лопастей крутились крошечные, с ноготь, золотые плоско-объемные ангелочки. Тепло и свет, источники движения, крутили рождественское золотое волшебное колесо судьбы.

Тепло, свет, ньютоновское тяготение магически оживляли игрушки, глаз не оторвать от крутящегося золотого блеска, вращающегося планетарно кубаря, играющих во всемирное тяготение ваньки-встаньки с кувыркуном.

Но особо хороша была меленка, игрушечная мельница, исполненный восторга малый образ настоящей. С каких времен играли человеческие дети в крылатую башенку? известное дело — со времен царя Хаммурапи; с легкой (ой ли?) руки римлян, одиннадцатого века, придумавших поворотную башню, крутящееся здание, ловящее изменившееся направление ветра, с долгих дней древних китайских умельцев, на чьих ветряках (а крылья всех мельниц мира именовались мельниками *парусами*) размещались свободно поворачивающиеся независимые натуральные паруса. Ветра разных континентов встречались с Дон-Кихотовыми великанами-врагами, козловыми, столбовыми, шатровыми, колчанными, будь то голландские постоянные западные ветра, с Атлантики летящие к Балтийскому морю, или бретонские вии.

И если зубчатые колеса, валы, шестеренки, хитроумно вращающие тонкие жернова, были *органопроекциями слабых человеческих рук* или запряженных в поворотное устройство волов (стольких-то лошадиных сил...), — сами эти борей, норд-осты, оствесты и прочие были *органопроекциями Вселенной*, тянущие к изобретенному или освоенному землянами земледелию из темных межзвездных пространств или солнечных ветров невидимые космические руки. Откуда ты знаешь, что прилетел ветер-невидимка? Как мне не знать, вот закачались деревья, кусты, травы легли, ускорились облака, мелет муку мельник.

Белую уширяющуюся книзу башенку игрушки венчала рыжая конусообразная крыша с нарисованной черепицею, на фундаменте нарисованы были камни циклопической кладки с проросшей у подножия травой. Запускалась меленка двумя ключами: верхний вращал крылья-паруса, распахивал верхнее оконце, в котором поочередно появлялись фигурки персонажей: Августин, девушка, ангел, рыцарь и смерть, а также открывал дверь, в которой стоял мельник с мешком; нижний принадлежал музыкальной шкатулке, выводившей мелодию «Августина».

Когда стали подпевать Христина с Эрикой — по-русски и по-немецки, — выяснилось, что и «Августина» два. Подобно двум «Лесным царям», немецкий страшнее, русский элегичнее и печальней. «Ах, мой милый Августин, — пела Христина, — ах, мой милый Августин, все прошло, все!» А у Эрики не просто «все прошло»: «сгинуло все», все пропало, погибла богатая Вена, плачьте! И там, и тут сводила людей в могилу чума, но, вспоминая о чуме, Христина вопрошала: «Где же радости наши?», — а Эрика пела про празднество мертвецов, пир во время чумы: «Und was jetzt? / Pest, die Pest! / Nur ein groß Leichenfest, / Das ist der Rest»; у Христины Августин падал в грязь, а у Эрики в дерьмо.

В полусне-полуяви под стук колес вспоминал он, как читал на ночь заболевшему сыну «Свинопаса» Андерсена, где та же песенка звучала, и подумал: а нет ли третьего Августина, датского, какой он? какие слова витали в воздухе под механическую музыку, которую за поцелуи покупала у свинопаса капризная принцесса?

Игрушки расставлены были на полу по кругу, словно обвело обеих женщин и мальчика круговой меловой бурсацкой чертою, защищавшей их от Виевой свиты с Виём, от ужасов бытия. Горели тонкие свечи, крутилась золотая вертушка с малютками-ангелами, вертелся волчок-кубарик, переворачивался лестничный кувырган, вскакивал ванька-встанька, вращались крыла мelenки, возникали в оконце цветные фигурки меньше мизинца, звучал голосок музыкальной шкатулки. В эти минуты зло ненадолго отходило, пропадало, сгинув. Но кубарь с ванькой-встанькой падали на пол возле цветного домотканого половика, ложился возле лесенки кувыркун, затворялось оконце с фигурками, переставали крутиться мельничные крыла, замолкал нежный механический голосок музыкальной шкатулки, заводное волшебство отлетало, действительность неумолимо вступала в свои права: в дверь стучал солдат, фрау Эрика, вам надлежит немедленно вернуться в комендатуру, срочная работа.

Эрика ушла в комендатуру печатать приказы, он вышел во двор играть с соседским мальчонкой, а к Христине в окно постучался чумак. У ворот стояла его телега с двумя запряженными волами, показавшимися мальчику заколдованными существами из сказки; на телеге лежал гроб в окружении нескольких мешков.

— Вот, Хрися, — сказал чумак громко, чтобы слышали соседи, — померла сестра моей покойной Гретхен, гроб сделал, еду хоронить.

Он был женат на немке из семьи колонистов, как Христина была замужем за немцем, чьи предки с осьмнадцатого века приехали из Неметчины по приглашению русской царицы осваивать на заграничный лад юг и учить немецкому аккуратистскому ведению хозяйства местных граждан одной из окраин Российской империи.

А в избе за столом сказал проезжий шепотом:

— После похорон оставлю волов племянничкам, а сам морем отсюда уплыву.

— Как же ты поплывешь, ты не рыбак, не моряк.

— С судном управлюсь, шурин деверя меня с детства учил, с ним в море на баркасе ходили.

— Да куда ж ты поплывешь?

— Как получится. В Грецию. В Турцию.

— Убьют.

— Так и здесь убьют. Контрабандисты вон спокон веку ночами куда только не ходят.

— Они молодые, — сказала Христина.

— Зато я вечный, — сказал чумак.

— Ночевать будешь?

— Нет, надо ехать. Рад, что тебя увидел. Я ведь, ты знаешь, на тебе жениться хотел, а тут твой Ганс подоспел. Но я на твоей свадьбе со своей Гретхен познакомился, вышла у меня радость из печали.

— Такая нелегкая жизнь была, — сказала Христина, — а как хорошо жили.

Мальчишки вились вокруг волов.

— Вол — царь зверей?

— Он бык холощенный, — сказал соседский. — Ты городской, не знаешь.

Два соседских мальчика постоянно его, городского, незнающего, младшего, просвещали.

— Это собака-дедушка? Хочет непослушную Жучку наказать?

— Дурак, это кобель.

Потом одного из соседских застрелил солдат за воровство, тот украл то ли понравившуюся ему тавлейку, кубик для игры в кости, то ли маленькую аккуратную гранату, то ли шоколадку. Мать соседского страшно выла за забором. Офицер отчитывал солдата: «Киндер был арийской внешности, мог великой Германии пригодиться». Солдат

возразил: но он принес урон, а приносящие урон подлежат уничтожению. Офицер крикнул: не смей со мной спорить, за пререкания со старшим по званию отправишься на передовую. Солдат стоял потупившись. Его и вправду отправили на передовую, где он и погиб.

На воловьих рогах мерцали звезды, телега с гробом удалилась по залитой лунным светом дороге, исчезла за пригорком, словно ее и не было.

Вернулась домой матушка, звякнула щеколдой калитки, прошла по тропке между рядами мальв и ночных фиалок.

Его уложили спать. Женщины пили чай, шептались, в тот вечер никто не рассказал ему страшную сказку.

— Приказы печатала, к утру по станице расклеить должны. Всем евреям велено собраться на площади с вещами по тридцать кило на человека для переезда на новое место жительства.

— Гость был проезжий, чумак, говорил, что в двух станицах и в главном городе евреев расстреляли. Еще говорил: около соседнего Энска в колхозе, где стоял дурдом на восемьсот человек, а колхоз доставлял им пропитание, всех больных поубивали, а пропитание направили для врачей большой больницы и в казармы для фашистских солдат.

— Я про это сегодня слышала, — отшепталась Эрика. — К офицеру другой офицер заходил, кажется, тот, что у тебя в доме проездом был у него в гостях, сидели как в мирное время. Он и рассказывал. И получил в ответ: вот теперь видно, что в большинстве случаев гигиена важнее морали, большая больница не только для лечения, местные врачи следили, чтобы не было распространения эпидемий чумы, это, мол, необходимое подразделение, а психи, равно как и евреи, даром хлеб едят и вовсе нам ни к чему, и не возражайте, я вас уважаю, но ваша гуманистическая еврейская философия мне не нужна и для вас лишняя. Христина, Христина, зачем мы только поехали в эвакуацию. Это нас дьявол в поезд посадил, спасением поманил.

— Не надо поминать дьявола к ночи, — прошептала Христина.

Он засыпал, с закрытыми глазами разглядывая звезды на рогах волов и маленькие блики воловьих глаз за длинными выцветшими ресницами.

Днем прибежал уцелевший соседский мальчонка. «Бежим, — сказал он, — там евреев с площади за город по Советской улице ведут».

— Мне Христина не велит уходить со двора.

— Ее сейчас дома нет, не видно, бежим, мы быстро вернемся.

Серая толпа с черными пятнами, редкими белыми и цветными, текла рекою по главной улице станицы. По бокам шли, соблюдая дистанцию, солдаты.

Толпа большей частью состояла из стариков, женщин, детей, но шли и мужчины, и юноши. Солдаты, а в особенности командующие офицеры, выглядели необыкновенно свежо, чистенько, аккуратно, напоминали подарочное войско оловянных солдатиков на фоне небрежного, полунищего некрасивого безоружного сборища.

Высокий носатый старик в нелепой шляпе, длинном пальто, карикатурных чаплинских ботинках, которые явно были ему велики, нес стенные часы. Тащили узлы, саквояжи, лучший свой скarb. Мимо проходил одногодок с игрушкой в руках; встретившись с нашим героем глазами, мальчик поднял свое сокровище, любимую железную обшарпанную машину, покрутил ею в воздухе: вот что у меня есть! смотрите, смотрите! какую-то потаенную нажал кнопку, и — о, чудо! — у видавшей виды машинки зажглись фары. Хозяин машинки улыбался, оглядывался, помахал машинкой, он помахал рукою в ответ.

Тут налетела сзади Эрика, схватила его и соседского шалопая за руки, потащила домой, они еле за ней поспевали. Он никогда не думал, что маленькие руки матери такие сильные, ему было больно.

Когда уже стал он Могаевским, писал роман о детстве, о матери, ему к тому моменту известно было о существовании пьесы для оркестра и пишущей машинки, и прочитал он: пьеса исполняется редко потому, что у ударника-солиста должны быть очень сильные кисти, таковой нечасто находится.

Эрика втолкнула его бойкого дружка в соседнюю калитку прямоиком под подзатыльник соседки, а его затащила в дом, закрыла дверь на засов. «И не смей носа со двора высовывать всю неделю, наказан».

Пришла Христина, не стала возиться в огороде, дверь за собой заперла, и едва задвинула задвижку, взорвалась тишина выстрелами, стреляли из автоматов, винтовок, револьверов, пулемета, долго, очень долго. За время блокады к бомбежкам и артобстрелам слух его почти привык, но такой стрельбы он не слышал, и стал плакать. Матушка вместо того, чтобы его утешать, сама заплакала, плакала и Христина.

— Где? — спросила Эрика.

— В овраге за дорогой к реке.

Вечером орали песни напившиеся полицаи, до середины ночи катались с песком и рыхлой землей торфяника два грузовика.

К утру все уснули.

В овраге не сразу уснули вечным сном все расстрелянные, долго еще шевелилась то там, то сям сброшенная с грузовиков земля. Дерн вокруг оврага стал красноватой рыжеющей каймою. Когда утомонились все, изготовилось небо к рассвету, из-под трупов выбралась недострелянная молодая женщина; обе ее дочери, лежавшие рядом с ней, трехлетняя и шестилетняя, были холодны, мертвый холод шел из глубины их маленьких тел. Когда раздались первые выстрелы, шестилетняя спросила ее: «Мама, а когда расстреливают — это больно?» Женщина доползла до окраинной избы, поскреблась в дверь, там не спали, затащили ее в подпол, лечили, прятали, пока фашисты не покинули станицу. После войны она вышла замуж, родила сыновей, рассказала им, подросшим, о сестрах.

Шевелилась земля оврага, внутри затихали стоны, шепоты, скрежеты, а в глубине, наполненной телами, ужасом, мраком, сияли горящие фары игрушечной железной машинки.

Проснувшись среди ночи, пошел он по мчащемуся вагону в железнодорожную уборную. По правую руку все спали в своих купе, любители чая и коньяка утолили жажду, утомонились, кто-то храпел за одной из задвинутых дверей; по левую руку трепетали на щелевом ветерке подобные парусам китайских мельниц занавески. Почти достигнув цели, увидел он приоткрытое пространство пустого двухместного купе, самого дорогого в купейных вагонах.

Однажды в «Красной стреле» оказался он в таком купе для привилегированных с великим ученым Р., с которым не единожды работал и виделся на конференциях. Они разговорились, традиционно русское дао очарованных странников, не о работе, самоабвенно, а *обо всем*, чтобы расстаться утром и забыть о случайной дорожной беседе.

— Моя матушка немка, и дед с бабушкой с материнской стороны чистокровные немцы.

— Вы поэтому и в курсе, что этнических немцев в начале войны в двадцать четыре часа выслали из Москвы, Ленинграда, из большинства городов и городков (минус случайные неувязки и нестыковки) в лагерь? Я потому в лагере и оказался: из-за того, что я немец.

— По-моему, нашей семьи это не коснулось, то ли неувязка, то ли нестыковка. Но мы с матушкой, уехав в эвакуацию после первой блокадной зимы, оказались в оккупации, жили в доме женщины, жены немца, ее мужа и сына так и отправили в лагерь,

она ничего о них не знала. У нашей хозяйки были игрушки, сделанные мужем, в частности, замечательная мельница, крылья вертелись, менялись в окне фигурки, музыкальная шкатулка в башенке играла «Ах, мой милый Августин». Матушка подпевала по-немецки, хозяйка по-русски. Но почему-то в этой песенке вспоминал я потом совсем не те слова, что мать мне пела, не «Alles ist hin!», а «Alles ist weckt!», да вдобавок, когда стал я читать андерсеновского «Свинопаса» сыну на сон грядущий, я еще один неизвестно откуда взявшийся куплет добавил: «Ах, ду либер Августин, шток ист век, рок ист век...»

— Да, — улыбнулся Р., — все пропало, исчезло: и трость, и сюртук, и шляпа. Может, кроме матушки, вам певали дедушка-немец и бабушка-немка? Песня народная, в разных землях Германии разные диалекты, разные причуды, вероятность разночтений велика.

— Скорее всего, вы правы, я об этом не подумал. Народная старинная песня...

— Вообще-то, по легенде, у этой песенки был автор по имени Августин, жил в шестнадцатом веке в Вене, написал текст во время эпидемии чумы. Человек он был веселый, гуляка, однажды, перепив в трактире, вышел он на улицу глубокой ночью, сильно навеселе, упал в чумную яму да там и уснул. Проснувшись поутру, увидел он, что лежит на трупах умерших от чумы людей, в ужасе выбрался из ямы, думая, что он заразился, смерть близка, неотвратима. Но по непонятной причине зараза морового поветрия обошла его стороною, умер он через год, свернув шею случайно после очередного пьяного ночного падения. Ему хватило года, чтобы написать обращенную к самому себе песенку, Августин был в ней как бы «от первого лица».

Поезд стал поворачивать, дверь пустого купе захлопнулась, воспоминание прервалось.

Железнодорожный туалет, как всегда, встретил его своим феерическим, с детства запомнившимся, ввевшимся в ноздри неописуемым запахом: смесь хлорки, земляничного мыла, давно не существующей угольной гари забвенных паровиков, а также неизбывной мыслью: куда деваются человеческие какашки? биотуалетов спокон веку не было, сколько раз в молодости хаживал по шпалам — ни следа! Только комочки серных самородков грузовых составов.

Умывшись пенистой упругой струей железнодорожной воды, он глянул в зеркало.

«Надо же, Августин упал в чумную яму с трупами. А ведь фашизм называли „коричневой чумой“. И яма с расстрелянными была за станицей, я видел их еще живыми, мальчик с машинкой, старик с часами, они верили, что евреев отправляют на новое место жительства».

«Где эта маленькая блондинка подцепила еврейского мальчишку?» — спросил чуживший самую малую и дальнюю примесь иудейской крови «великий нацист» офицер. Ответ Эрики по-немецки: «Это мой сын, я немка, а его отец — русский врач».

И тут до него дошло.

Это из-за него мать пошла работать в комендатуру, предала Родину, была судима и отправлена в лагерь, она сама привела его за ручку на станцию, где командовал всезнающий нацист, и не был его отец русским врачом, а был еврейским скрипачом из симфонического оркестра.

Кровь ударила ему в виски, он долго не мог отворить дверь, наконец выйдя в тамбур, открыл верхнюю узкую вагонную форточку, ветер хлестал его по лицу, занавески металась, как бешеные.

Отдышавшись, двинулся он по ковровой дорожке, с трудом нашел свое купе, лег, никого не разбудив.

Поезд мчался сквозь ночь, на ночных перегонах нежилых мест набирая скорость, в тартарары, в тартарары, падам-падам-падам, к татарам, к татарам, к татарам...

И не мог он додумать ни одну из летучих неуловимых мыслей своих.

У него было две мачехи, растворившаяся в неведомых пространствах времен и географических меток мать, два отца, один из которых, безымянный, безликий, призрачный, занимался музыкой, о которой он знал немного, играл на скрипке, о которой он не знал ничего; друг-турист пытался научить его играть на гитаре, так, аккомпанемент к простеньким песням. — тщетно, он эту идею оставил. У него было два имени, одно из которых он придумал сам. С чего началось двоение? с двух лесных царей, русского и немецкого? с двух Августин, немецкого и русского?

Колеса стучали, пытаясь вписаться в ритм любимой во время юношеских путешествий песни про поезд; «Подари мне билет на поезд, идущий куда-нибудь, и мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправиться в путь». Его молодая жена, когда-то купив книжечку стихов негритянского (американского?) поэта Ленгстона Хьюза, обнаружила, что русский вариант песни возник из двух стихотворений поэта: «One way ticket» (существовавшего в форме полублюзовской-полурокерской англоязычной, известной всем) и того, в коем автор готов ехать куда ни попадая, лишь бы «убраться отсюда»; куда ни попадая? в последней строке Ленгстон восклицает: но только не в южные штаты! — возвращая читателя к войне Севера с Югом, южной ненависти к чернокожим и т. п. А этот поезд, уносивший некоего Могаевского вдаль, несся вот как раз на юг. Как тот. Из эвакуации примчавший его, несмышлениша, с мамой Эрикой в оккупацию под всевидящий ледяной взор нациста, они приехали к матушкиному предательству Родины из-за поезда на юг, из-за ее измены мужу, из-за того, что человек предал замысел Бога, создавшего народы, нации, страны.

В доме много пластинок, жена собирает их, надо будет послушать, как играют скрипачи, почитать о скрипке; глаза его слипались, скачущее во весь опор воображение не желало уgomониться, мешало уснуть, в раздрае, в невыносимом состоянии раздвоенности, граничащем с помешательством, припомнил он слова проводницы о работающем круглые сутки вагоне-ресторане. Тихо выбрался он в купе и отправился в середину поезда, переходя по тамбурам и сцепам из вагона в вагон.

В эти минуты в мчащемся на юг составе шел он на север.

Странны были вагоны, через которые пролегал его путь.

Открыв дверь из гармошки-сцепы в тамбур и механически проскочив в вагон, он на несколько мгновений замер: вагона словно бы не было вовсе, в дальнем конце его маячил следующий, а этот оказался совершенно прозрачным, просматриваемым, и в первую минуту страшно ему стало сделать шаг по стеклянному полу, который, словно в кошмарном сне, мог проломиться под ногами, хрупнуть, хрустнуть, вышвырнуть его на мелькающие под пустотным днищем шпалы. Первые два шага убедили его в том, что пол полунесуществующего пространства выдерживает его вес, полно, да это и не стекло вовсе, все из пластика: пол, потолок, крыша, боковые стены, двери купе, купейные диваны и полки, столики у окон; спящие пассажиры раскинулись в воздухе на своих просвечивающих невидимых лежах, складки подвешенных простынь, одеял, подушек, свесившаяся рука, женские кудри, и над всем этим полупомешанным сценическим сюрреалистическим мчащимся вагоном — полушарие неба, поделенное траекторией поезда, поднятого над местностью насыпью, пополам, бывший закат и грядущий восход царили в цирковой небесной сфере на паритетных началах, темная половина, светлая половина, полная луна наверху, маячившая над прозрачным потолком над его головою как в насмешку, некошенные рвы по обе стороны насыпи, отступившие за луга или заброшенные поля дальние леса; кое-где далеко-далеко мелькал огонек какой-нибудь жилой избы, угадываемой, распознаваемой по крупнице света в дальней полумгле.

Он понятия не имел, где сейчас находится просвечивающий вагон, капсула спящих пассажиров, была ли то «золотая параллель» Валдая, именуемая так потому, что

находится ровно посередине между Северным полюсом и экватором? или состав уже успел ее проскочить?

Его и прежде занимало: на какой станции между Петербургом и Москвой заканчиваются белые ночи? где их таможня? не в Малой ли Вишере? Как наступает полная тьма? Вряд ли существует резкая линия границы, как на Луне, скорее, это дими-нуэндо, реостат, постепенность. Вот уже полярный свет замутился ложкою дегтя южной ночи, и пошло, и пошло. Впрочем, читал он некогда в любимом журнале, что после взрыва Тунгусского метеорита область белых ночей (видимо, из-за светящихся серебристых облаков) распростерла крылья свои от Енисейска до Черного моря.

Проносясь словно бы без крыши, стен, пола, ни дна ни покрывки под перевернутой чашей небесной сферы по обводящему насыпь блюдцу окоема, он ощутил себя абсолютно беззащитным, малое насекомое в мощной отчужденной космогонии, при этом любой сарай из нестроганных досок, самая неказистая избенка, хижинка приносили приютившемуся в них желанное чувство защищенности. Какая, в сущности, дьявольская затея, успел он подумать, пробегая над мелькающими под вагоном шпалами против движения, мелкий ничтожный контрамот, какая бесовская идея все эти стекляшки небоскребов, аквариумы бетон-стекло-металл, террариумы кафе, в которых подсознательно человек ощущает свою ничтожность, уязвимость и открыт всем страхам мира.

Следующий тамбур распахнул дверь в слепящую тьму.

Окна были то ли задраены снаружи листами железа, то ли покрашены смолой, свет не горел ни в коридоре, ни в купе (впрочем, обитаемых, там храпели, посмеивались, шуршали, дышали, шептались). Только на полу по всей длине вагона расстелена была ковровая дорожка люминисцентного кошенильно-алого, и он шел по этой указующей путь *тропе Масирах*², придерживаясь руками то стенки с черными окнами, то стены с закрытыми дверьми, преодолевая густой воздух тихого омута мрака.

Следующие тамбур и сцеп ничем особенным не отличались; на двери висела табличка с надписью казенным аккуратным шрифтом:

**проект РЖДwK
обкатка, макеты,
варианты**

В вагоне сняты были перегородки купе и традиционных общих полок, пространство было непривычно широким. У входа направо висели вместо окон доски с белыми макетами, вид вагона сверху, комбинаторика перегородок; между двумя выдвижными досками (полкой с планшетами и маленьким кульманом) на узких креслах-кроватях спали два молодых человека. Над одним из планшетов прочитал он еще одну табличку:

Wagon Ковчег 1

Налево от входа на двух затрапезных ящиках похрапывал на ситцевом тюфячке укрытый почему-то полушубком («это в поезде на юг в летнее время», — усмехнулся он) мужичок с кудрявой бородкою, у ног его спал большой белый пес.

— Что же собака-то без намордника?

Спящий незамедлительно открыл глаза.

— Эта собака умнее нас всех. Документы у нее в порядке. Намордников с собой два. Ты ревизор?

² «Тропа Масирах» — фантастическая повесть Эрнста Юнгера.

— Я пассажир. Иду в вагон-ресторан.

— Идешь — и иди, — сказал хозяин пса и тотчас уснул.

Пес открыл глаза, глянул и тоже незамедлительно уснул, подражая хозяину.

Каждое третье окно превращено было в дверь. Почти преодолев вагон, увидел он, что эти двери — складывающиеся и выдвигающиеся по направляющим, заглубленным в пол, шкафы.

Один из таких шкафов справа (узкие дверцы распахнуты, боковины гармошкой) отделял от остального пространства спящую группу из четырех актеров; над ними на стене висела афиша, в шкафу на вешалках качались театральные костюмы: розовое с тюлевой юбкой женское платье, за ним камзолы, кафтаны, восточный халат.

В левом углу на плетеных сундуках-корзинах расположился мини-табор: цыган, двое цыганят, две цыганки, молодая и старая, шали, цветастые юбки, на откидном столике у единственного окна кнут и горка украшений: ожерелья, мониста, бусы.

Проскочив тамбур, открывая следующую вагонную дверь, был он готов увидеть все что угодно. Но пред ним раскинул белые скатерти на принаготовленных к полу и стенам столиках вагон-ресторан. В глубине, в дальнем торце, за барной стойкой что-то писал в блокноте официант. Посередине вагона сидел единственный ночной посетитель. За спиной официанта журчала в кассетнике музыка.

Буклет с меню услужливо предложил ему на выбор котлеты, яичницу, лангет, салат, винегрет, бутерброды, чай, кофе; он рассеянно читал список питейного: коньяк армянский, коньяк дагестанский, джин с тоником, виски, ром, ликеры, сухие, столовые, крепленые, десертные вина, пиво, коктейли с затейливыми названиями: «Мэри с перцем», «Старая таверна», «Дамское шерри-бренди», «Африка со льдом», «Тип-топ с Бенедиктином», «Али-Баба», «Ослиное молоко», «Засада Сузуки», «Тройка мчится», «Белокурый яд», «Мечта отшельника», «Одинокий всадник», «Триумфальная арка», «Факельный атлантический», «Пятеро или шестеро по требованию», «Неоправданная путаница», «Дьявольское пойло», «Боуль „Кровь дракона“», «Флип № 666».

— Поскольку я родился и вырос в Стране Советов, не премину дать вам совет, — сказал человек за столиком посередине вагона, — заказывайте котлеты, огуречный салат и никаких коктейлей, шампуней напьетесь, вина пробовать не пытайтесь, одна печаль, а виски, джин и ром — сивуха натуральная; лучше возьмите графинчик коньяку, если при деньгах, берите «Наполеон», если чуть в средствах ограничены, не ошибетесь с «Дербентским».

Выбираясь из своего полного бликов гнезда, официант задел кассетник, тот, свалившись на пол, поменял волну, врубил звук, пространство ночного вагона-ресторана залил неуместный громкий голос скрипки.

— Что это вы так вскинулись? У вас что-то с нервами? Подумаешь, бандура упала, возопила.

— Просто я думал о музыке, к тому же именно о скрипичной.

— Какое совпадение. Я тоже в последнее время постоянно думаю о музыке. С вашего позволения я пересяду за ваш столик, мне в ломак переговариваться с вами через полвагона, а уже начали переговариваться, дело дорожное.

Ресторанный собеседник был высок, худ, словно скульптурным штихелем пролеплены скулы, уши, нос, шарниры суставов, откровенно начинающий лысеть череп в аккуратно коротко подстриженных рыжеватых, начинающих седесть волосах.

Усевшись, поставив перед собой рюмку и напоминающий колбу графинчик (жидкость графинная ни в малой мере не напоминала коньяк, отливала изумрудом), поймав взгляд своего визави, советчик промолвил:

— Это остатки вермута югославского.

И обращаясь к подошедшему официанту:

— Новоприбывшему клиенту котлеты, огуречный салат, боржом, бокал, рюмку.

Плесканул в рюмку зеленого зелья, улыбнулся:

— Пейте.

— Вообще-то, я по ночам не пью.

— Я налил вам мизерную дозу, обсуждать нечего. Давайте, давайте, на вас лица нет, в себя придете.

— Какой странный вкус. Язык жжет, отдает мятой. Что за вермут?

— Это не вполне вермут, вроде того. Руки согрелись?

Согрелись руки, легкий жар опалил щеки и уши, растеклось по всему телу странное тепло, глубокий вдох, надо же, оказывается, я едва дышал...

— Вы действительно размышляли о музыке? Вы меломан?

— Нет, моя жена меломанка, с юности, еще будучи невестой, водила меня в филармонию и в капеллу. Когда включился ни с того ни с сего скрипичный концерт, я думал о скрипке и о скрипачах, меня удивило совпадение.

— Падение с совпадением. Это была запись Ойстраха.

— Я однажды его слушал. Он мне очень понравился. Не только тем, что прекрасный исполнитель, что всем известно, но еще и тем, что он похож не на романтического гламурного красавца скрипача, а на бегемота.

Человек напротив рассмеялся.

— Вы всегда такой непосредственный? Или это мой вермут вас из ступора вывел?

— Вермут. Не подумайте, что я хочу принизить великого музыканта. Для меня бегемот — одно из самых любимых животных. У моего... отца... стоял на бюро маленький фарфоровый бегемотик с ЛФЗ, зевающий во весь рот; и всякий, увидев его, верите ли, тоже тотчас начинал зевать.

— Понимаю, понимаю! Сам люблю бегемотов. Знаете ли, с детства, когда их увижу, в зоопарке ли, в кино, по телевизору или въяве в заповеднике, — жизнь моя меняется к лучшему. Вот идет гиппопотамище, а на спине его сидят птицы, чьих названий я не знаю. Он входит в реку, переходит ее вброд, птицы, ошеломленные, взлетают, вода укрывает его с головою, он тихо идет по дну, завораживающее зрелище...

— Единственное известное мне литературное произведение об игре на скрипке, «Крейцера соната» Льва Толстого, мне глубоко неприятно, оно не только что женоненавистническое, но и человеконенавистническое.

— Перечисленные вами свойства «Крейцеровой сонаты» меня никогда не волновали; я только задавался вопросом: если Льву Николаевичу хотелось иногда пришить Софью Андреевну, при чем тут Бетховен?

— А почему вы постоянно, как изволили вы выразиться, думаете о музыке? Вы музыковед? Музыкант?

— Ничего подобного. Мне открылся совершенно неожиданный взгляд на музыку. Почти случайно. Что до скрипки, я всегда мечтал о ней, да мне была не судьба. Играю для себя на рояле.

Музыкальную школу окончил, в консерваторию не пошел. Дилетант. Но — как не похвастаться ночью в пути? — не самый бездарный. Я с юности в разные годы увлекался разными музыкантами, различными произведениями. Были годы Бетховена, периоды Шопена, Бах никуда и не уходил. Потом настало время Шумана. Подруга моего друга юности К., любившая всем давать прозвища, называла меня «Много Шумана из ничего».

В своего друга К. я с отрочества был влюблен совершенно, нет, ничего такого, что походило бы на ныне модные гомосексуалистские штучки, за мной не водилось, ни малейшей охоты дотронуться до него, приобнять, превратить привязанность в фи-

зическую данность. Разъезжаясь на школьные каникулы, мы переписывались. В юности большую радость доставляли общие прогулки по городу, походы в музеи, хождения в кино, велосипедные турне, молодежные беседы о жизни с философской подкладкой, обсуждения прочитанного, — ну, и так далее.

К. рано женился, все его время стала занимать хорошенькая нарядная капризная жена, два года мы почти не виделись, а потом он развелся, мы снова задружили. Его друзья-художники дали ему адрес хозяйки, у которой снимали в Крыму жилье на время летних этюдов, и мы решили отправиться к морю. Однако в новогодние праздники возникла у К. новая подруга, к весне стало ясно, что на юг мы поедем втроем.

О, какое фантастическое лето накрыло нас звездным шепито, куполом южного планетария своего! На велосипедах колесили мы по Крыму, прибывались к экскурсиям, открылся нам калейдоскоп пейзажей с давно потухшими древнеюрскими вулканами, бухтами, россыпями коктейбельских обкатанных волнами халцедонов, агатов, сердоликов, пещер с проросшими кристаллами кальцита, аметистов, сверкающими «щетка-ми» горного хрусталя. Мы стояли в уничтоженной временем и войнами генуэзской крепости, от которой остались только ведущие в никуда врата, бродили между эллинскими колоннами поросшего мелкими алыми маками Херсонеса, поднимались по узким крутым тропам узких невысоких ущелий, ловили в ладони древнегреческих пегасиков, морских коньков, и мелких медуз, нас окружали виноградники, табачные плантации, лавандовые луга, на краях которых стояли домики, мазанки, сакли, хибарки давно выселенных перемещенных крымских татар, айсоров, греков.

По указанному художниками адресу снимали мы два великолепных (один даже с малой открытой верандой) сарайчика у старухи гречанки, чудом оставшейся жить в доме предков, не тронутым вихрем ветра времени. Тропинки малого сада вымощены были плитами золотисто-серого ноздреватого камня, вокруг колодца размещалась крошка агора, мощенная мелким булыжником, которую уважал вечно валяющийся там кот хозяйки. Вдоль плит тропинок высокие ряды ночных фиалок, флокс, мальв и табака, прогретые солнцем, источали по вечерам в звездный воздух волны аромата, притягивая огромных ночных совок.

Купаясь в двух дальних бухтах, песчаной и классической mini-гальки, обрели мы компанию летних сезонных друзей, среди которых был юноша из Сербии, учившийся в Москве (подруга К. называла его «Серб-и-молод»); когда мы в часы полуночных купаний рассказывали, подражая античным пирам, занятные истории, его сербские байки были волшебней прочих.

Античность, похоже, вообще никогда не покидала этих мест, ничто не могло вытравить невидимых складок ее одежд, незримых образов, никакие войны, переселения и побоища не сумели заставить замолкнуть прибрежную волну прибоя, вот накатила на влажный песок, на цветные камушки, мгновенное «замри!», за ним волновой откат; некоторые филологи считали, что именно этому «замри» обязаны были строфы Гомера возникновению необъяснимой цезуры посередине строки. Пейзажи, суточные игры солярно-лунного атмосферного театра — все было безмятежно и лучезарно. Словно находились мы в центре урагана, в оке бури, *cor serpentis*, — где-то бушует, рушит, сметает, смывает, а тут у нас красота и тишина. Я не задумывался тогда о том, как в этих местах отбушевала война, сколько новых скелетов легло на морское дно, сколько яров, ям, могильников, братских могил прикопали на берегах, стало быть, к тишине жизни канникулярной сколько примешалось фундаментальной тишины смерти.

К. с его подругой, наплававшись, выходили из моря, выступали из воды подобно прекрасным древнегреческим герою и героине, персонажи мифов, образы Эллады; она, чья блистательная скульптурная совершенная нагота скрыта была в обыденной жизни небогатыми одежками (видели только, что она слегка косит, рот великоват, прямые

волосы своеручно подстрижены портновскими ножницами в скобку), и он, высокий, широкоплечий, с тонкой талией, чернобровый, пара с лекифа.

Серб-и-молод купил на книжном развале томик Пушкина из собрания сочинений 1937 года (издано оно было почему-то к столетию со дня смерти, обычно празднуют день рождения...). Он надеялся найти в инкунабуле «Песни западных славян», где Янко Марнавич, Радивой, Елена, влах в Венеции, гайдук Хризич с Катериною, Марко Якубович, воевода Милош, черногорцы, Яныш-королевич и конь ретивый; но не тут-то было, нашлись в томике «маленькие трагедии». Мы их читали. И сказала наша Сафо, чье имя в быту было Раиса: «А ведь тут все названия, включая подзаголовок, — оксюмороны, несочетаемые пары: трагедия не может быть маленькой, рыцарь — скупым, гость — каменным, гений — злодеем, и что за пир во время чумы?»

Она писала стихи, некоторые были текстами настоящего поэта. Позже, потом, когда стали у нее выходить книги стихов (тоненькие, точно ученические, тетрадки по тогдашней издательской моде сбоку припеку великой пыльной советской литературы), я находил в них ответы того лета.

Одно стихотворение под названием «Гермес и Артемида» заканчивалось строфою:

Вот невредимым из Аида³
Летишь, по воздуху скользя...
А я крадусь, я, Артемида,
И мне любить тебя нельзя.

Следующий текст назывался «Феб» и начинался словами:

Кончается огонь земной
Последней из разлук.
И метит в сердце мне стрелой
Бровей певучий лук.

Идучи на дальний пустынный пляж, проходили мы два иерата (или иероглифа?) войны: стоящую за кромкой прибоя (днище на метр или более того всосал песок) большую ржавую баржу и так же втянутую прибрежным песком внушительных размеров ракетаобразную с хвостовой крестовиной ржавую бомбу. Если постучать по боку баржи, отвечала она гулким звуком, звоном потонувшего колокола. Около бомбы всяк, имеющий фотоаппарат, считал своим долгом сфотографироваться, в обнимку ли с нею, верхом или картинно улегшись возле нее в легкой волне прибоя. Была ли она совершенно безвредна, могла ли сдетонировать и взорваться, никого не интересовало, однако сдающие металлолом, дабы подработать, на всякий случай выкопать ее не пытались.

Когда возвращались мы, накупавшись, случалось, что нас обгоняла тележка со впряженным в нее осликом, и мальчишка-возница позволял усадить в тележку единственную в нашей компании даму, а мы невеликой гурьбою шли следом, накинув простыни-подстилки на плечи, в пилотках из газет или соломенных шляпах, словно странствующие комедианты. У въезда в окраинные улочки мальчику вручался рубль, и он отправлялся со своим осликом восвояси. А мы всякий раз проходили мимо двух первых строений — слева двухэтажный деревянный дом, видимо, не единожды чиненый-латаный, но жилой и веселый, справа руина военных лет, до которой ни у кого руки не дошли, чтобы разобрать, увезти кирпич и камни фундамента для иной постройки.

³ Стихи, приводимые здесь и далее, а также реплика о пушкинских оксюморонах принадлежат петербургскому поэту Раисе Вдовиной.

— Они как два города на разных берегах, — сказал Серб-и-молод. — Старинная история нашей столицы, в которой я родился и вырос.

— Расскажите, расскажите! — вскричали дуэтом К. с подругою.

То была история двух городов небольших по численности народов, почти племен. Города разделяла река. Время от времени вражда между племенами вспыхивала наподобие пороховой бочки, начиналась война, зачинщики боев перебирались на другой берег, сражались, убивали, грабили, разбирали постройки и из их камней, кирпича, бревен и досок, перевезенных в свой город на противоположной стороне реки, возводили кварталы, крепости, предместья, храм для молений.

Разоренные, похоронив павших и убитых, отрыдав, залечив раны, подлатав развалины, начинали копить силы, возвращать ярость, ковать оружие, собирать войско. Преуспев, внезапно, чаще ночью, переправлялись на тот берег. Разрушив чуть ли не до основания строения, улицы, кварталы, перевозили они бревна, глыбы, кирпич, камни, доски, бревна, чтобы украсить и укрепить свой порушенный град.

Все вышеописанное повторялось наподобие дурной бесконечности не одно столетие; однако со временем страсти утихали, возникали новые игры бытия, менялись действующие лица, вожди, правители, военачальники, купальские огни пассионарности вспыхивали то там, то сям, блуждали, угасали. Наконец два города превратились в единую столицу одного царства, правый и левый берег соединили мосты. На том история разрушения и созидания из одних и тех же камней разными племенами могла бы завершиться. Однако боги или бесы войны продолжали существовать в подземных природных древних бункерах своих, поддерживая негаснущие потаенные угли раздора, и новая столица не своей, но некоей недоброй мистериальной волею продолжала хранить свой статус города раздора, града обреченного, вечно видящего во сне войска.

На этих словах рассказ нашего сербского летнего друга (помните детскую летнюю дружбу навеки между детьми, привезенными в какой-то единственный год случайно на соседние дачи?) закончился, и мы вошли в тихое пространство садика старухи гречанки. Странно, что я навсегда забыл и имя гречанки, и название улицы, где стоял ее домишко. В одном из стихотворений нашей Сафо (имею я в виду только род занятий, поэтическое ремесло, античный эвксинско-эгейский антураж; повторяю, в те годы ни о каких нетрадиционных сексуальных пристрастиях люди большей частью не только не помышляли, а и не ведали вовсе) прочел я:

Не из Адамова ребра
Сотворена была когда-то,
А из литого серебра
И лиловатого агата.

Кольцо литого серебра с дутыми серебряными шариками купил ей возлюбленный на стихийном рынке одного из феодосийских пригородов. В то лето она его не снимала. А лиловатые агаты, равно как аметисты, попадались нам постоянно в коктебельской гальке. Куда потом делась моя горсть камушков, привезенная с юга, не знаю. Все было слишком хорошо.

Следующее лето провели К. с подругою в Крыму вдвоем. А потом они поссорились. Не то что поругались или повздорили — расстались навеки. Почему? из-за чего? это осталось их тайной. Слово («дальнейшее — молчание», как изволил выразиться Шекспир) закончилась пьеса, занавес упал.

Последующие события удалось реконструировать мне по частям, что-то, отмолчав, рассказала она, что-то рассказали ей, что-то узнала мать К., которую навещали (ни разу не встретившись) и я, и его подруга. В третье по счету лето от того, фантастического,

безмятежного, они, не сговариваясь, поехали в Крым каждый сам по себе. Не знаю, ехали бывшие влюбленные волею судеб в одном поезде в разных вагонах, или их поезда разделяли несколько часов, либо суток, либо полдня. Прибыв на одну и ту же станцию, они разъехались на велосипедах в разные стороны побережья. Параллелизм мышления, совпадение, слом прерванного единства, пародия на былой синхрон? Я потом долго размышлял об этом несовпадении железнодорожном и дорожном. И почему-то о том, что у Толстого роман Анны Карениной и Вронского начинается в вагоне и заканчивается гибелью героини под колесами поезда.

Она путешествовала в одиночестве по местам прошлого потерянного общего счастья. Его путешествие прервалось на третий день. Один из многочисленных отдыхающих, любитель купаться в безлюдных местах, нашел на берегу небольшой бухты велосипед, рюкзак, аккуратно сложенную одежду, исправно идущие часы. Придя на то же место назавтра, увидев те же предметы нетронутыми, он вызвал милицию.

Документы К. нашли в рюкзаке. На вторые сутки водолаз нашел и его сидящим на корточках, обхватив колени, на дне морском. Плавал он великолепно, и я никогда не слышал, чтобы он болел или жаловался на нездоровье.

Мы не виделись с ней года полтора, словно пребывая в карантине. Потом я стал приходить в гости, редко, очень редко, ненадолго. В комнате коммуналки в доме неподалеку от касс «Аэрофлота», чекашной тюрьмы на Гороховой, «Англетера» стояло пианино. Мне кажется, ни она, ни ее мать на нем не играли; отец погиб на фронте, когда она была маленькая, но не думаю, что и он имел отношение к фортепианной игре. Впрочем, во времена переселений послереволюционных, послевоенных можно было оказаться в любой квартире, полной чужих вещей.

Я играл Шумана, Шуберта, Шопена, она любила «Карнавал», «Крейслериану», посмеивалась, как прежде, — уж не стоят ли у меня дома ноты по алфавиту. Потом я уехал, сперва на полгода, потом на год, потом навсегда. Я женат, жена моя иностранка, живу в чужой стране, приезжаю нечасто. В одно из моих отсутствий дом ее поставили на капитальный ремонт, жильцов расселили. Больше мы с ней не виделись. Я ничего про нее не знал, хотя доходили до меня слухи, что она переехала в какой-то провинциальный городок неподалеку от деревни, где жили ее предки.

Позавчера зашел я в магазин «Старой книги», рылся, перебирая полки и коробки, и выпала мне, как карта Таро по случаю, одна из ее книжиц с пейзажем ее руки (тушь, перо). Открыв книжицу в поезде, прочел я первое попавшееся на глаза восьмистишие.

Тут вынул он из кармана куртки тоненькую книгу стихов, распахнул ее без закладок на означенной случайной странице и прочитал:

Доживу до границы, где нечего больше терять,
Где однажды сведут времена свой венец золотой.
Я умру за столом, опрокинув лицо на тетрадь,
Синева в синеву, как застыл небосвод над водой.

Я водою была. Я водою была голубой,
Я рекою была, и тебе я донине верна.
Не осталось ни облачка больше меж мной и тобой,
Ни тебя, ни меня — никого. Беспредельность одна.

Он разлил по рюмкам зеленый ненастоящий вермут, выпил, слезы в глазах его стояли, он их и не скрывал.

— Что-то произошло со мной, не мог уснуть, лето из прошлого меня объяло, звучали в ушах моих экзотические названия греко-татарско-хазарского словаря из наших крым-

ских прогулок и ее тогдашних забытых стихотворений, Топрах-Кая, Сюрю-Кая, Нимфей-Киммерик, Пантикапей, Керкинитида, мыс Феолент, Татар-Хабурга, Узук-Сырт, Инкерман, Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Тмутаракань, Кафа, гавань Ад-Яр, ущелье Уч-Кош, охотилась, пробегая за ланью, богиня крымских тавров Дева Парфена, проносилась над полуночными розами бывших татарских садов коктебельская ведьма джяды, проворочался я часа два да и пошел в вагон-ресторан, где вы меня и видите.

— Мне вы налили напрасно, я еще с первой рюмашки не протрезвел.

— Что она — вода, — продолжал собеседник, не слушая его и доливая обе рюмки, — я слышал еще в Коктебеле, она увлекалась знаками зодиака, гороскопами, тебе этого не понять, Эрик, говорила она мне, ты знак воздушный, человек осмотрительный. Вот только, говорила она, непонятно и мне, откуда во мне берутся свойственные огненным знакам припадки гнева и ярости. Я отвечал: так живем в Санкт-Петербурге, неужто здешние наводнения не объяснили за три века, что вода может быть губительной своевольной стихией?

— Вас зовут Эрик?

— Да.

— Не может быть.

— Как то есть не может?

— Мою мать звали Эрика. И ее пишущую машинку тоже. Вы немец?

— Прапрадед еще был немец, все женились на русских, дочери за русских выходили, так обрусели, что у меня и фамилия русская, одно имя осталось. Да вдобавок мысль, что все же отчасти немец.

— Моя мать была немка. Мир совпадений странен.

— Подруга К. называла сие явление «рифмами». Рифмы — свойство бытия, говорила она, их не поэты придумали; но опасайся дней, в которые их слишком много, а также недель, в которых их вовсе нет.

— Вы сказали, что в последнее время часто думаете о музыке...

— Сказано было: не сотвори себе кумира. И стоило бы человеку «не сотвори» осознать. Нас всех атеизм из человеческого состояния отчасти вывел. Даже, доложу я вам, язычники древние ближе к человеческому облику были. А создания конца девятнадцатого века и века двадцатого вообще ни то ни се. Был у меня кумир, божество несравненное, праздник духовный, не тронутый грязью, — музыка. Да встретился мне на одном из путей (а по роду занятий из моей нынешней страны я частенько перемещаюсь в другие ойкумены и палестины) человек, снимающий фильм о музыке в концлагерях, я даже свел его с несколькими спонсорами. Встреча меня просто потрясла, я увидел музыку с совершенно другой стороны, одновременно предательницей и мученицей. Ее постигла в жизни моей судьба всякого кумира. Но вы допили, давайте я вам долью.

— В концлагерях звучала музыка?

— В ГУЛАГе не знаю, в остальных да.

— Мы с моей соседкой, одноклассницей, делали уроки, к ее дедушке зашел старый друг, из ГУЛАГа освободившийся, за чаем рассказывал, что участвовал в самодеятельном оркестре, играли на гребенках, обернутых папиросной бумагой, у него его лагерная гребеночка с собой была, он исполнил на ней «Амурские волны». Два человека дудели в патроны лампочек Ильича, ударник ударял по перевернутым ведрам, разной высоты поленьям и чурбачкам старой скалкой, деревянной киянкой и карчеткою.

— Что такое карчетка?

— Я тоже тогда спросил. Щетка с тонюсенькой проволокой вместо щетины, то ли для станочника, то ли для слесаря, ржавчину снимать, заусенцы железные.

— Надо же, музицировали и в ГУЛАГе. Надежды маленький оркестрик. Поскольку фильм еще не доснят, не смонтирован, видел я несколько фрагментов. Старик — лет

под сто — англичанин, ныне живущий в Америке, рассказывает о хоре военнопленных, строивших (а в плен их взяли японцы) в джунглях железную дорогу в Таиланд. Судя по описаниям, стройка напоминала возведение Норильской железной дороги, где, по свидетельству очевидцев-участников, «под каждой шпалой по скелету». Именно на шпалы Норильской садились зэки Лев Гумилев и Николай Козырев и читали друг другу стихи Гумилева-отца. Климат Норильска шептал о вечной мерзлоте, климат пути в Таиланд — о тропической лихорадке, жаркий, влажный, липкий.

Зэки и военнопленные мерли как мухи. Старик из фильма сказал: меня часто спрашивали, чего мне больше всего на той тайской стройке не хватало? видимо, думали, что скажу: женщин и свободы; но я отвечал правду: сахара и музыки. В конце концов пленные англичане запели, хор сначала возник спонтанно, потом всерьез взялись за репетиции. Первое, что спели, — известный бравурный военный марш, вот только слова были свои, свежеизобретенные, сплошная нецензурщина, похабнее некуда. Шли строем, пели с улыбкою, не ведающие тонкостей английского языка японские конвоиры слушали, довольные. Выходя на работу со своим непристойным гимном на устах, пленные впервые обрели чувство собственного достоинства.

Дальше чего только не пели, марши, баллады, популярные песенки, арии, все на свои грязные тексты. Думаю, сказал старик, хор помог тем, кто выжил, дожить до победы.

Разные части фильма посвящались разным темам: лагерным композиторам, цыганским романсам, созданным за колючей проволокой (цыган ведь уничтожали так же последовательно, как евреев, в фильме эти романсы пели молодые цыганки, которым с голоса на голос были переданы они от прабабушек, бабушек, матушек), профессиональным большим оркестрам концлагерных музыкантов. Последним было хуже всего, потому что должны были они играть, когда узников пытали и расстреливали, заглушая выстрелы и вопли, вот тут-то боготворимая мною музыка оказалась в роли предательницы, бесовского орудия. Подозреваю, что все началось с Рихарда, недаром я при своем немецком происхождении Вагнера с молодых ногтей терпеть не мог, совершенно интуитивно, не ведая о его демаршах. Узнал уже в зрелом возрасте и о его статье «Еврейство в музыке» (запрещенной ныне в России, кстати, внесенной в список экстремистских текстов), и о его личном запрете исполнять его собственные великие арийские произведения дирижеру-еврею. Данной мутотой пропитана вся вагнерианская музыка, имеющий уши да слышит.

— Вы не преувеличиваете?

— Я преуменьшаю. И прежде подозревал: композитору не спрятаться, он весь тут, весь как есть, в каждом звуке, такте, паузе. Но вот поди ж ты: прекрасные опусы великих людей приспособили, чтобы глушить крики истязуемых да выстрелы расстрельных команд, воюющих с безоружными, беспомощными. Звучали Пятая симфония и «Ода к радости» Бетховена. В Освенциме был духовой оркестр из ста двадцати музыкантов и симфонический из восьмидесяти человек. В Бирхенау музыканты играли возле газовых камер и рядом с крематорием. Во время повешения играли танго, во время пыток фокстрот. Предполагают, что самым популярным танго в Яновском лагере на окраине Львова было «To ostatnia niedziela», «Это последнее воскресенье», в русском варианте «Утомленное солнце».

От всей этой, извините за выражение, информации обуяла меня такая ярость, такое отчаяние, сущее чудо, что кондрашка нехватила. Теперь вы знаете, почему я в последнее время постоянно думаю о музыке. А что вас заставляет о ней размышлять?

— Просто я узнал нечто новое об одном человеке, скрипаче, человеке, имевшем для нашей семьи... как бы это сказать... особое значение... Я не готов об этом рассказывать.

— Скрипаче? Скрипке и в моем сюжете отведена особая роль. В Яновском лагере дирижером оркестра был гениальный скрипач Якоб Мунден. Отступая накануне осво-

бождения Львова, фашисты выстроили сорок музыкантов оркестра в круг, окружили кольцом охраны, приказали играть. По приказу каждый оркестрант по очереди выходил в центр круга, клал свой инструмент на землю, раздевался догола, и его убивали выстрелом в голову. Первым убили дирижера.

Какая-то адская пародия на концертное исполнение «Неоконченной симфонии» Гайдна, исполняемой при свечах, на каждом пюпитре по свечке, закончив свою партию, музыкант гасит свою свечу и уходит. Помните стихотворение Николая Гумилева «Волшебная скрипка»?

— Нет.

— Оно заканчивается так:

На, владей волшебной скрипкой,
Посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью,
Страшной смертью скрипача.

А в Терезиенштадте струнным оркестром руководил Карел Анчерл, его оркестр и играл бетховенскую «Оду к радости» перед приехавшими инспектировать лагерь представителями Красного Креста, козыряло перед ревизорами лагерное начальство. После отъезда ревизоров всех заключенных перевели в Освенцим, где погибла семья Анчерла: родители, жена, дети; сам он чудом выжил. В послевоенной Праге он долгие годы возглавлял Пражскую филармонию, прекрасный был исполнитель.

Когда для бывших заключенных лагерей приехал играть великий скрипач Иегуди Менухин, такая вот акция доброй воли, слушатели поначалу встретили его в штывы, для них в какой-то степени музыка означала гибель, ложь, смерть, и перед толпой напоминающих сонм призраков, вышедших из ада, пронумерованных татуировками людей стоял благополучный красавец Менухин, они его чуть со сцены не прогнали, но постепенно, понемногу, от такта к такту, стали слушать, смягчились, жизнь победила, он увидел улыбки, напоминающие гримасы, услышал аплодисменты, не похожие ни на одно «браво» многолетних гастролей в разных странах. А вот теперь я вижу, что мое зеленое зелье возымело действие. Вы уже похожи на человека, а я хочу спать. Рад был встрече.

— Скажите, а когда вы сюда шли, вы проходили обычные вагоны? Или несколько странного вида, как во сне?

— Вагоны как вагоны. Что до снов, говорят, что царство Морфея функционирует круглые сутки, человек видит сны и во сне, и наяву, но дневное «наяву» с его событиями приглушает сновидения.

Не дойдя до двери, Эрик остановился, щелкнул пальцами и вернулся.

— Я вспомнил еще одну историю про музыку в концлагере. Она местная, наша, как я мог про нее забыть.

Родители героя эмигрировали из России во Францию. Отец семейства, инженер-акустик Шевченко, был скрипичных дел мастером, скрипки его были необыкновенно хороши. По стопам отца пошел и сын Владимир, необыкновенно красивый, как его вторая жена и главная любовь, героиня нашего сюжета Вера Лотар; они напоминали пару из немого кино. Вера, редкого таланта пианистка (в детстве выступала она с Тосканини, к двадцати пяти годам ее знал весь мир), наполовину испанка, наполовину француженка, происходила из русофильской семьи, ее родители даже детей называли русскими именами. Когда Вера и Владимир встретились, она моложе, он старше, отец двух детей, они влюбились друг в друга, он развелся, они поженились, родившийся

общий ребенок умер в младенчестве. Владимир с детства бредил Россией, мечтал туда вернуться. Они и вернулись в 1939 году вчетвером: Владимир, двое его детей от первого брака, Вера Лотар-Шевченко. Арестовали его по обвинению в шпионаже.

Прибежавшая к следователю Вера кричала: «Он истинный патриот России! Никогда шпионом не был и не мог быть, муж мой честнейший человек! Если вы его арестовали, арестуйте и меня!» Что и было исполнено. По одной из легенд, она надавала пощечин какому-то генералу. Провела Вера в лагерях долгие годы, писала письма — чудом узнав адрес его лагеря — давным-давно расстрелянному мужу: «Я так волнуюсь для тебя. Думаю о тебе и люблю тебя без конца».

Еще по одной из легенд, на допросе следователь капитан А. перебил ей молотком пальцы.

По третьей легенде, работала она на сибирском лесоповале, зимы в Сибири холодные, руки у нее изуродованы были артритом. Возможно, все легенды соответствовали действительности. Зэки выпилили ей деревянную клавиатуру, на которой она и играла в своем бараке, чаще всего Баха. Через некоторое время немзыкальные зэчки стали слышать музыку ее немого рояля. И наконец вспомнила она один опус Баха, Сонату для скрипки и клавесина номер четыре до минор, они исполняли ее с Владимиром; и состоялся этот невероятный концерт: деревянный рояль безмолвствовал, а на воображаемой скрипке играл убитый скрипач.

Ивдельлаг, в котором отбывала срок Вера, «был одним из самых паршивых лагерей, где с 1938-го по 1946 год погибли тридцать тысяч человек. Голод, карцеры с крысами».

Выйдя из лагеря, она принята была на работу тапером нижнетагильским режиссером драматического театра, то был будущий кинорежиссер Владимир Мотыль, после выхода своего фильма «Звезда пленительного счастья» написавший ей: «Полину Гебль я делал с Вас». Позже жила и работала она в новосибирском Академгородке, стала солисткой Новосибирской филармонии, концерты в Москве, Ленинграде, многих городах СССР. Однажды зашедший в полупустой зал на ее концерт не ожидающий услышать что-нибудь стоящее внимания известный гастролер из столицы был потрясен ее игрою, страстью, блистательной техникой. Придя за кулисы, он поразился еще раз: как можно быть такой фантастической пианисткой с настолько изуродованными руками?!

— Откуда вы?

— Я из турмы. Я преступник.

— А что вы сделали?

— Ничего.

За выступление на концерте ей платили двенадцать рублей.

Сначала узнала она, что дети погибли в блокированном Ленинграде. Но позже оказалось: один из мальчиков выжил, взял фамилию матери, первой жены отца. Теперь звали его Денис Яровой. Работал он мастером на московской фабрике смычковых инструментов, существуют сделанные им скрипки, он издавал книги по скрипичной акустике, его старинный друг Йегуди Менухин не единожды хотел перетащить Ярового с семьей в Англию, однако Дениса Владимировича не выпустили из страны.

Яровой успел прислать Вере Лотар-Шевченко в Сибирь рояль «Стейнвей», но когда вышла она на филармоническую сцену, сияющая от счастья, увидела она, что «Стейнвей» стоит под замком, а ей надлежит играть на каком-то стоящем рядом раздолбанном фортехлябе. И тут впервые за долгие страшные годы она разрыдалась, не могла остановиться, с трудом, наглотавшись воды, взяла себя в руки, — и слушатели потом утверждали, что то было самое великолепное ее выступление. В детстве и юности Веры фирма «Стейнвей», выпускающая лучшие в мире рояли, специально привозила инструмент на ее концерт, в каком бы городе и стране он ни проводился.

На новосибирской могиле Веры Лотар-Шевченко выбиты ее слова: «Жизнь, в которой есть Бах, благословенна». Я слышал одну ее запись: Лист, «Святой Франциск идет по воде».

Эрик удалился в свой конец вагона почти бегом, стремясь упасть и уснуть, а наш герой неспешно двинулся в противоположную сторону, представляя себе, как сейчас снова войдет в «вагон-ковчег» и увидит спящих цыган. Однако вопреки ожиданиям ковчег уже подменили, поменяли на самый обычный общий, тючки, узлы, корзины, коробки, чемоданы, с небогатым путешествующим человеком, разметававшимся во сне детьми; в одном из некупейных отсеков мужики играли в карты, выражаясь шепотом, хихикали тихохонько, допивали пиво, на него, проходящего мимо, ни малейшего внимания не обратили.

Зато следующий вагон был телячий, сено, дощатые топчаны для заключенных, животных, войск, но никто в нем не ехал, только легкое шевеление бывших трав да сквозняки из неутепленных, полных щелей стен.

А уж третий, вип из vip'ов, сверкал белизною, слоновой костью, самоварного золотом ручками, вензелями номеров, немислимыми цветочными рожками светильников, кремовым шелком занавесок, благоухал нежными мерзкими дезодорантами; он пробежал внезапное великолепие рысцою и за следующим тамбуром обрел свое купе, свою полку, уснул моментально, едва одеяло на голову натянул.

Окутал облаком его один из редких Морфеевых феноменов — сон во сне. Сидел он в загадочном пространстве затемненного лекционного зала среди других наученных работников, а на некоем возвышении, подобном старинной, вышедшей из моды шкафообразной трибуне, глубокоуважаемый лектор читал доклад, иллюстрируемый неким действием на экране над головой выступающего. Да, говорил лектор, все мы теперь знаем, что столетней и более того давности германец смешанной национальности Зигмунд Фрейд был неправ, ибо в его толкованиях снов велик был крен (тут кто-то в зале хихикнул) в сторону сексуальных фантазий, скорее тайных, чем явных (на экране возникла витиеватая надпись «Прелюдия», забегали vip-бордельные нимфы, а за ними и сами персоны нагишом, но в фешенебельных галстуках).

Существует версия гастрономического характера, продолжал докладчик, согласно которой характер сновидения определяется тем, чего объелся до того сновидец; одно дело, если фирменных ростбифов, антрекотов на фоне салатов шуази или рапе, совсем другой коленкор, ежели переел нищенских покупных пельменей двухмесячной давности, я уже не говорю о фастфуде, пицце, бургерах и пирожках на солярке; а если объесться белены любой консистенции и характера, может привидеться хрень, никакой классификации не подлежащая. Тут на экране появился титр: «Греза как таковая», — и, моментально уснув, увидел наш герой самого себя в сногшибательном интерьере типа фэнтези то ли в допросной, то ли в зале суда, причем судили его в итоге в три присеста тремя тройками.

Первая тройка состояла из мэнов («челов», как выразился докладчик) в неловко сидящих на них штатских одеяниях. Мэны-челы пытались добиться от подсудимого — с какой целью переехал он с семьей из известного всему миру северного города в невеликий городок южный на высокую должность за несколько лет до аварии-катастрофы, поразившей болезнями, безумием и несообразием бытия не только юг, но и, тайно или явно, весь белый свет. Уж не является ли подсудимый агентом-террористом, одним из тех, чьими руками катастрофа была подготовлена и осуществлена? Тут под крики подсудимого: «Это ложь! Клевета! Деятельность моя была конструктивна и прозрачна! Требую адвоката!» — провалился в тартарары стол с первой тройкою, зато поднялся из подполья стол со второй, а на заднике за столом просияла надпись: «Интерлюдия». Вторая тройка во главе с неким Тамбураем Мириадовичем (кроме него, в состав трио

входили Зюю, сверкающая стразами, и красавец в мотоциклетном шлеме) требовала объяснить — для чего стал подсудимый писателем и по какой причине и с какой целью издал непонятную подметную книгу под псевдонимом Могаевский. «Вы не понимаете задач искусства!» — возопил на то подсудимый. Последняя тройка, всплывшая после провала второй под девизом «Постлюдия», большеголовый инопланетянин с серой морщинистой мордочкой звериного стиля, некто под брезентовым покрывалом и полупрозрачный кадавр, обретающий дар речи только повернувшись к собеседнику в профиль, некоторое время безмолвствовала, листая манускрипт в паутине, конторскую книгу и словарь-справочник. Речь инопланетянина была непонятна, ибо алфавит его языка состоял из малопроизносимых букв, из коих землянам известны были только три (*зю, зю-бемоль и ламцадрица*), да и те не на слух, а визуально. Некто под покрывалом изъяснялся на языке глухонемых. Наконец поднялся кадавр, встал в профиль и произнес: «На самом деле подсудимый прибыл на юг не по воле своей, но по зову неизвестного ему отца, то есть в неведомом ему самому образе блудного сына». Тут взвыла вся тройка, но вой ее был прерван словами извне:

— Вставайте, вставайте, гражданин! Сдавайте белье! — тряс его за плечо проводник. — Подъезжаем!

Жена встретила его на перроне.

— Где внуки?

— Остались с хозяйкой. Что с тобой? Ты нездоров?

— Все нормально.

— Пойдем, давление тебе измерим. У нас сняты две комнаты маленьких, кухонька с горсточку, очень хорошо, домик на окраине, море недалеко, пройти и спуститься. Мне прислала подруга долгожданный календарь эрмитажный, я его сюда привезла, нам еще жить и купаться недели три. У него на обложке «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи.

— А на актуальный месяц? На сегодня?

— Рембрандт, — отвечала жена, — «Блудный сын».

3. СКРИПКА. Largo

«Эрика, или Мое поражение во Второй Мировой войне»

Николай Никулин

Настоящий скрипач является частью своей скрипки.

Йегуди Менухин

Ей было жаль будить его, он так тихо спал, она разглядывала его лицо, бледно-смуглое, даже какая-то легкая голубизна сквозь тонкую кожу светилась. Пушинка трепетала на уголке подушки. Она вытащила пушинку, пощекотала его ноздри. Он тотчас сел, открыл глаза, словно не спал вовсе, спросил:

— Что?

— Почему тот человек, которого мы встретили на вокзале, сказал тебе: «Привет, Тибо!»?

— Здравовался.

— Ты разве Тибо? Какое странное имя. Ты говорил — тебя зовут Марк.

— Тибо — это не имя, а фамилия.

— Ты говорил — твоя фамилия Вернер.

— Моя да. А Тибо — фамилия прекрасного французского скрипача. Меня друзья и оркестранты так прозвали, им кажется, что есть сходство в манере игры великого Жака Тибо и моей. Он известный всему музыкальному миру скрипач, а я просто человек из оркестра, но мне лестно, я откликаюсь.

— Можно и я буду тебя так называть?

— Называй.

— А сон? Ты свой сон помнишь?

Они просыпались рядом третье утро, и в предыдущие утра рассказывали друг другу свои сны.

— Мне приснились бешеные деньги.

— Ты разбогател?

— И не мечтай. Вот снюсь я себе на рынке. Надо купить ягод, зелени, а в кармане сложенные наподобие морщинистых фантиков рубли. Продащица говорит: у меня уже такие есть, вон, в коробочке, я их крышкой закрываю, чтобы не бесились, это бешеные деньги. Что вы такое говорите? — спрашиваю. Смотри, говорит она, тычет пальцем в митенке в мятые рубли, а те, словно и впрямь взбесившись, начинают метаться, соударяться, кувыряться как угорелые. «Ссыпай сюда свои, я тебе их все отдам, да ты и ягоды бери, вижу твою бедность, я сама такова». Принес я ягоды мятые и бешеные деньги сюда, на дачу, а ты мне говоришь: надо их в конверт положить, запечатать, они будут тише воды, ниже травы. Находим в угловом секретере большой желтый конверт, старые сургучные взломанные печати медно-шоколадные, растапливаем в консервной банке на углях, запечатываем конверт с сургучом, опечатываем неведомо чьей печаткой с оскалившимся волком, надписываем конверт: «Бешеные деньги». И тут ты будишь меня. Теперь рассказывай свой сон.

— Я его не помню, — сказала Эрика, крутя и разглядывая пушинку, — пробудившись, вместо сна я тотчас стала вспоминать концерт филармонический, на который ты меня пригласил. Я никогда прежде не ходила в филармонию. Это был волшебный вечер. И знаешь — мне понравилось, что ты во фраке, а обращенная к зрителям, то есть к слушателям, фалда фрака напоминает хвост.

С ним стала жить она точно жена с мужем, тогда как с мужем жили они как любовники, все было неправильно, то ли не имело смысла, то ли смысл ускользал. Она не стеснялась перед ним своей наготы, он тоже, словно были они жители рая до грехопадения. Взгляд мужа на нее, раздетую или полуодетую, смущал ее, она даже чувствовала, что краснеет, щекам жарко.

— Можно я налью тебе четверть чайной ложки водицы в пупок? — спрашивал Тибо.

— И что будет?

— Озеро Эри.

Растопив камин, Тибо вернулся а спальню. Эрика сидела на краю тахты голая, спиной к нему, причесывалась.

— Ты похожа на скрипку. У нее, скажу я тебе, тоже имеется талия... Не может быть! У тебя под правой лопаткой родинка, как у моей скрипки!

И вправду на тыльной стороне скрипки выше талии справа на темно-золотой лакированной кленовой деке красовалось темное пятнышко.

— Ровесница революции, принарядись, — говорил он ей, — пойдем в плавни.

В шкафах деревянного дачного дома хранилось бывшее, тихое, затаившееся, сохранившее, воплощенное в предметы, словно не было войн, революции, разрухи, нового мира, кричащего, зубы оскалив: «Мир хижинам, война дворцам!»

Она надевала допотопную шляпку из мелкой черной соломки с букетиком мильфлерных условных цветиков, накидывала серо-лиловую доисторическую мантилью,

поблескивающую бисером, радужным стеклярусом, брала корзинку, и они отправлялись в плавни собирать чаячьи яйца, то есть разорять чаячьи гнезда.

Ручей или почти пересохшая малая река, несущая остатние воды в залив, таилась в прибрежном редком лесу. Ее затапливаемая ранней весной невеликая пойма, усталая полувысохшими стеблями тростника, рогоза, осоки, ив, прядями соломы, колыхалась под ногами, глуша шаги, соломенный сенник, тюфяк сырой, батут, точно постеленный на несуществующую донную глубину либо бывшее болото, ни ног промочить, ни провалиться, слегка качался под стопой, неверная здешняя твердь. Чайки откладывали яйца прямо на эту подстилку, мелкие, разноцветные, в розовато-сериозеленокоричневую крапинку.

— Хозяйка дачи собирает их ведрами, ставит в холодный подпол. А нам с тобой для наших яичниц, омлетов, печений да пряников хватит и корзинки.

Чтобы яичница не отдавала рыбой, Эрика посыпала ее тмином, укропом, в тесто для пряников и печений сыпала корицу, имбирь, молотую гвоздику, пряности отбивали всякое воспоминание о рыбном благоухании.

— Чайки разные бывают, — говорил он рассеянно, глядя в свои ноты, — крачки, водорезы, хохотуны.

— Разве есть птица хохотун?!

— Есть птица, называющаяся глупая сивка.

— Такой птицы тоже нет.

— Посмотри в птичьем справочнике в разделе «зуйки».

— Где же такой справочник взять?

— Вон в книжном шкафу на второй сверху полке стоит.

Дача принадлежала друзьям его родителей. Хозяева уезжали на фрукты в Крым, с детьми хозяев он дружил, они оставляли ему ключ.

— Сегодня вечером переезжаем, — сказал он.

— Куда?

— За город, в деревянный дом. Видишь ли, скрипка сделана из дерева, а все деревянные вещи живут своей жизнью, нуждаются в особом уходе, чувствуют соседство собратьев по былому лесу. Скрипка лучше всего отзывается на окружающее ее деревянное резонансное пространство. Скажу тебе по секрету, что и мне лучше всего живется в деревянных домах, может, потому, что настоящий скрипач — часть своей скрипки. Я мечтал сыграть для тебя в надлежащем месте, где все оживает и звучит по-настоящему.

Они прожили в стоящем на отшибе стареющем дачном доме три недели, не встретив ни соседей, ни отдыхающих, и в эти три недели поместилась целая жизнь.

В глубоком леднике, рукотворном холмике двора, лежал лед, на чердаке сушились веники и травы, в камине пылали угли. Камин растапливали собираемыми в лесу шишками с хворостом, комнатную голландку короткими поленьями, колонку в ванной угольными и торфяными брикетами. От каминных углей из-под сосновых и еловых шишек жар был тихий, особый, держался долго.

— Раньше на чердаке жили нетопыри.

— Они разве не из страшных сказок? Настоящие?

— Чудесные, настоящие, с лайковыми крыльями. Но одна из хозяйских кошек повадилась их жрать, они пропали. Ты никогда не видела летучих мышей?

— Никогда.

— Это оттого, что ты ровесница революции. Твои птички — буревестники, соколы и чайки.

Одну из чаек увидела она на валуне у залива, чайка подпустила их близко, не улетала, чихать на них хотела.

— Да у нее клюв как молоток! — вскричала Эрика. — Долбанет — мало не будет.

— Я один раз чайным клювом получил. Прилетела такая птичья танкетка на прибрежный валун с чужим птенцом в клюве, кажется утенком, и сожрала его на моих глазах. Я побежал к ней, кричал на нее, махал руками, ей не понравилось. Я и ахнуть не успел, она спикировала на меня, долбанула по плечу и улетела. После того всякий раз, как видел я на мхатовском занавесе чайку, эмблему театра, у меня плечо болело. А когда чеховская нежная девушка говорила: «Я — чайка...» — представлялся мне заглатываемый утенок. В иные осени и зимы чайки прилетают с залива столоваться на городские дворовые помойки, так ежели чайки над двором летают, не то что голубей да воробьев не видать, — вороны прячутся.

Чаще всего он играл для нее внизу, в полупустой гостиной с камином. Иногда, впрочем, он оставлял ее у камелька одну, поднимался на второй этаж, там репетировал, разучивал новые партитуры, новые вещи то для игры в своем оркестре, то для себя.

— Хочешь поддержать скрипку, попробовать взять ноту?

— Нет, нет! — вскричала она. — Я не умею, я боюсь попортить струны, смычок, вообще все.

Тибо улыбнулся.

— Был один человек, который утверждал, что всякий взятый на скрипке звук запоминается ею, запечатлевается навсегда в виде некоего молекулярного соединения, если играть плохо, скрипка может онеметь, умолкнуть, словно душа ее разрушена, голос пропал. И это продолжается до той поры, пока ее не расколдуют руки талантливого скрипача, тогда она очнется, проснется, вернется, как Спящая Красавица.

— В каком королевстве колдовства и сказочных чудес ты живешь.

Оказалось, не все скрипки безымянны, существуют «Гваданини» и «Гранчино» (называемая «очаровательной»), единственная «Гварнери» и множество «Страдов» по имени создавшего их Страдивари, «Д'Эгвиль», «Геркулес», «Мадмуазель Эберхольт», «Суа», «Граф Ковенхюлер», коего сотворил Страдивари в девятидесятилетнем возрасте, — а первую свою скрипку построил он в тринадцать лет. Голоса «Страдов» словно бы окутывал необычный цветной звуковой шум, на фоне которого возникал главный звук, напоминающий голос гобоя.

Вокруг дачи стояли клены и ели, из них покои веку строили скрипки. Не только характеру своего скрипача, своего хозяина, его телу, душе, духу созвучна была его четырехструнная подруга, но таились в ней свойства создавшего ее мастера.

— Скрипка Страдивари, — говорил Тибо, — подобна возлюбленной, до нее нужно дорасти, дожить, претерпеть воспитание чувств. А творения Бартоломео Джузеппе Гварнери дель Джезу позволяют нам узнать, что был он человек разом страстный и сострадательный, жесткий и святой, отъявленный бунтарь и блаженный злодей; он не знал супружеского счастья, не оставил детей, умер молодым, только-только обретя преуспевание и известность. Его творения вырезаны грубовато, на глазок, они асимметричны, милостиво отпускают грехи и погрешности собрату-исполнителю, голос их меньше голоса «Страд», но голос скрипки Гварнери словно исходит всеми порами ее, звучит из глубины былых времен, из тел былых деревьев.

Он рассказывал ей о скрипичных мастерах разных веков. Она запомнила фамилии трех главных итальянских скрипичных династий, но путала, кто отец, кто сын, кто чей ученик. Хотя врезался ей почему-то в память работавший в Лионе в начале шестнадцатого века немец Каспар, то ли Тифенбруккер, то ли Дуиффопругар, создавший маленькую французскую скрипку; творения его до двадцатого века не дошли. Еще запало ей в голову, что основатель династии Амати несколько лет работал в Париже, где сделал по заказу французского короля Карла Девятого множество инструментов для знаменитого ансамбля «24 скрипки короля». Самый одаренный из семьи был его внук Николо.

— Творения Николо, — говорил Тибо, — отличались носкостью звука (это вроде полетности голоса), чудесной серебристостью, «пряностью букета», колоритностью.

Иногда во время его рассказов она мгновенно, как кошка, ненадолго засыпала (чем очень сместила его, когда он это замечал) и после краткого сна выныривала на середине фразы.

— ...И этот коллекционер утверждал, что лучшие инструменты создавались в безалаберной Кремоне, почти круглый год окутанной густым туманом; как ни странно, в красивейших комфортабельных местах создавались самые плохие скрипки. Кстати, о тумане. Моя сделана была в Стрельне полвека назад лютьером Леманом, а Стрельна славилась туманами, выдохами сырого воздуха с залива.

Они бежали по пляжу. Бежать по песку было не так и легко, однако она убегала, он догонял: бежали как дети. Пляж был пустой, никого, хотя еще не настали годы пустых побережий, до них еще оставалось лет тридцать. Но во все время их романа, особенно в дни деревянного дачного дома, безлюдье обводило их кругом своим, рай на двоих, то есть подлинный рай.

Устав, она сперва села на песок, потом легла. Догнав ее, он лег рядом с нею. Она ждала объятий, поцелуя, ласки, но он взял ее за руку, так же, как она, глядел в небо, безоблачное, тихое, слабо окрашенное, как всякое небо над большой водой.

И проплыло над ними *нечто*, прозрачное, но все же видимое, словно скроенные неведомым макетчиком либо портным, сшитые просвечивающими нитками огромные лоскутья, одни объемные, другие плоские, бесшумно, неспешно.

— Ты видишь?

— Да.

Проплыло, слилось с далью, исчезло.

— Что это было?

— Может, ангелы?

— Знаешь, — сказал он, усаживаясь, обхватив колени, — однажды на репетиции привиделись мне вылетающие из рук дирижера, начинающиеся то ли с кончиков его пальцев, то ли из его жестов подобные накроенные прозрачные лоскутья, летящие в оркестр, совершенно на *это* похожие, только мельче, другого масштаба. Тогда явился я на репетицию после бессонной ночи — и увидел музыку.

Она вскочила, вскрикнула:

— Смотри!

Из-за залива надвигался туман, волною, стеною.

— Мне страшно!

Бегом возвращались на дачу, туман заполнял все, неумолимо настигал их, вбежать в калитку, захлопнуть за собой дверь; туман прильнул к стеклам оконным, к цветным квадратикам малых дачных витражей, округа пропала.

Она задернула шторы, зажмурившись, укрылась с головой одеялом: «Мне страшно...» Чем мог он успокоить ее, отвлечь, утешить? только собою.

После любовных ласк, позабыв исчезнувший мир, она уснула, а когда проснулась, он сидел у горящего камина, занавески были открыты, в ночном небе, подвешенные к ветвям елей, кленов, сосен, качались звезды.

«Надо же, — думал он, — а ведь туман явился со стороны Стрельны, где сделана была Леманом моя скрипка...»

— Лютьер — что это такое? — спросила она. — Имя?

— О чем ты?

— Ты говорил — твоя скрипка создана в туманном селении Лютьером Леманом.

Он рассмеялся.

— Лютьер — старинное слово, то ли английское, то ли французское, это скрипичный мастер. А туманное селение — Стрельна на том берегу залива. Лемана звали Анатолий Иванович, он делал великолепные скрипки. Одну из них подарил мне его сын. Я бы в жизни не смог ее купить, лемановские скрипки очень дорогие.

Она причесывалась, сидя на кровати нагишом, спиной к нему, тонкая талия, округлые линии, родинка под лопаткой.

— Ты похожа на скрипку.

— Ты уже это говорил. Леман — фамилия немецкая или еврейская?

— Немецкая. Еврейская у меня.

— Ты на еврея совсем не похож.

— Вот-вот, наш сосед по лестничной площадке про меня говаривал: ни в мать, ни в отца, в прохожего молодца. Мои батюшка с матушкой вот как раз типичные, чернявые, кудрявые, крюконосенькие. Кстати, Леман с портрета руки Репина чернобрый, чернобородый, иссиня-черные волосы, пронзительные черные глаза (как в повести Гоголя, колдовство, да и только), — очень даже похож на восточного человека. Про себя, был момент, я даже думал, что я подкидыш. А на самом деле, может, я в прапрадедушку-сефарда.

— Что такое сефард?

— Европейский еврей. Однако в подростковом возрасте частенько фантазировал я, что меня подбросили, подкинули. Знал я две истории про подкидышей, девочку и мальчика. Девочку нашли у двери окраинного домишки в красивой корзинке, дитя завернуто было в тончайшее белейшее белье со срезанными с углов простыни монограммами, вензелями либо аристократическими гербами; а мальчика — на пороге деревенской избы в открытом шикарном саквояже. К девочке прилагались золотой браслет и золотой крестик с цепочкою, в завязанном уголке батистовой простыни мальчика нашлась массивная золотая брошь. Детей крестили, они получили отчества и фамилии приемных родителей, их вырастили как родных. Два предреволюционных сюжета.

— Как в романе!

— Ты читаешь романы? Какие? Чьи?

— Фенимора Купера, Майна Рида, Уилки Коллинза, Виктора Гюго, Загоскина, Лажечникова, Алексея Константиновича Толстого, Жорж Санд, Дюма, Лидии Чарской.

— Надо же! Так ты читательница! Приятно слышать. Я сам читатель.

Эрике все время казалось — Тибо рассказывает ей сказки.

— Я получил свою скрипку в подарок от одного из старших сыновей лютьера Лемана, когда заканчивал школу. Вот как давно она со мною и будет со мной до конца моих дней, как моя жизнь. Даритель был гораздо старше меня, считал меня талантливым; кроме того, у нас был общий любимый поэт, Гумилев, я читал его книги, многие стихотворения знал наизусть; а сын Лемана в детстве дружил с Гумилевым, они вместе учились и играли.

— У Лемана было несколько сыновей? Ты сказал — «старший».

— Девять сыновей и две дочери.

— Как у отца Мальчика-с-пальчика. Отец брал детей в лес, куда ходил выбирать деревья для своих скрипок, как дровосеки выбирают деревья на дрова?

Тибо засмеялся.

— Некоторые скрипки он и впрямь превращал в дрова. Он сжигал инструменты, которые считал несовершенными. Мне рассказывали, что так сжег он чуть ли не четыреста скрипок и пяток виолончелей, успев поиграть на них и дать им имена.

— Свои книги жег Гоголь, — сказала полусонная слушательница. — Я Гоголя боюсь. Скоро начну бояться твоего лютьера. Папин друг, вегетарианец, говорит: не ем тех, кто моргает. А легко ли сжечь тех, кому сам дал жизнь и имена?

Тут провалилась она в сон, и Леман, которого она знала в лицо, потому что у Тибо была фотография репинского портрета, сказал ей:

— Вот как, я внушаю вам страх? Все знают, что я гипнотизер, вот сейчас я погляжу на вас, прелестная барышня, и вы вместе со своими страхами уснете и заспите их.

— Пожалуйста, не глядите на меня, — отвечала она, — я и так сплю.

Случалось, засыпала она на несколько минут, если не на несколько мгновений, но в эти ничтожные промежутки времени необъяснимым образом помещались долгие диалоги и длинные проходы по улицам, берегам и тропам никогда не виденных ею прежде пространств, вынырывающие из тумана металлические (тронутые патиной ржавчины) мостики Стрельны, небольшой (похожий на игрушку) самодельный старомодный самолетик на фоне вангоговских полей Франции, гарнизонная крепость в Польше с замкнутыми крепостными стенами клочками земли, где попадались уголки высокой некошеной травы.

В следующий долгий десятиминутный сон после пятиминутного тихого пробуждения явился ей скрипичный мастер сидящим на берегу одной из рек. Он сидел на лодочных мостках и вытаскивал стрелу для лука кого-то из многочисленных детей своих, тонкую, длинную, с чуть утяжеленным острием и прорезью для тетивы на торце.

— Играет в индейцев, а при небольшом росточке и кудрявой головушке похож не на лучника воинственного, а на Амура. Но склонен воевать в любой роли, как большинство мальчишек. Я же с младых ногтей так тяготился военным ремеслом, на которое осужден был судьбою, что это отравило мне детство и юность. Отец мой под конец жизни потерял все состояние, был вынужден заняться частной врачебной практикой, в свое время дед отдал его в военную службу, в артиллерию; однако в артиллеристы он не годился, стал типографом, сведущим в автотипии, фотографом большого таланта, прекрасным музыкантом, пианистом, композитором, автором опер и балетов, по воскресеньям в доме собирались синодальные певчие и исполняли сочиненные им духовные концерты. А деловой жилки в нем не было вовсе, его все обманывали, кому не лень. В некотором смысле я должен был повторить судьбу отца.

Семья была многодетная, бедная, выбирая, куда меня отдать учиться, выбрали военную гимназию, отдали в детскую казарму, жить на казенный кошт. Лучшие детские годы провел я как в тюрьме. Гимназию преобразовали в кадетский корпус, откуда я писал маме: «Мама, ты не думай, что я действительно дурно веду себя. Я никогда не шалю в классе и не курю. Но воспитатель говорит, что от меня можно ожидать всего и что он опасается поставить мне хороший балл из поведения». После гимназии было военное училище в Павловске, потом Николаевское Инженерное училище, служба в саперном батальоне Ивангорода, стоявшем под Варшавою, затем маленькая глухая крепость на болотистой равнине возле Вислы, и я задыхался, чуть только что с ума не сходил в этом кирпичном мешке. В крепости стал я изучать бильярд, писать книгу о теории бильярдной игры, что меня и спасло. Тринадцать лет жизни меня учили лучшим способам убивать людей, взрывать их жилища, истреблять их имущества, изучать средневековые способы пыток. Моя мечта была — убить из казармы! стать птицей: лети (потому я и построил модель самолета, мечтая о настоящем, на котором мог бы летать...); стать рыбой: плыви (стал профессиональным пловцом и яхтсменом); лечи людей вместо того, чтобы их убивать и пытать (окончил Военно-медицинскую академию как хирург-стоматолог, держал зубоврачебный кабинет на Владимирском); и все было не то! превратиться в слово? писал книги, издавал их... превратиться в звук, голос сфер, устремленный в Вечность! — и стал лютьером, и делал скрипки.

Тут, закончив во время речи своей стрелу, успев прибить на наконецник тонюсенький острый гвоздик, лишив его шляпки, поднял детский лук, стрела взлетела в воз-

дух, но успела увернуться случайно вылетевшая из-за дерева птица, Леман рассмеялся. Эрика, вскрикнув, пробудилась.

— Что с тобой?

— Я закалывала брошку на блузке, укололась, — бойко соврала она.

Тибо решил рассказать ей о смычке. Раньше ей казалось — смычок прилагается к скрипке, делается с нею одновременно, но выяснилось — существовали отдельные мастера для этой отдельной детали, без которой скрипка молчала.

— Какое славное словечко «смычок». Что он смыкает? Звук со звуком?

— У него есть второе название — трость; с колодкой и волосом. В сущности, он как лук.

Тибо отличался некоторой свойственной музыкантам странностью, замеченную ею во время их пребывания на даче, — то отвечал на еще не озвученный вопрос, словно мысль слышал, то пропускал вопросы мимо ушей, точно глухой.

— Так что, — продолжал он, беря скрипку и начиная наигрывать, она так любила слушать эти начинающиеся *ad abrupto* в воздухе отрывки неизвестных ей опусов, — я не только гоп со смыком, но и джентльмен с тросточкой, да еще и стрелец.

Он так и не узнал никогда, что возлюбленная его в снах своих, сопровождающих его маленькие ликбезовские лекции, видится то у прудов Стрельны, то на берегу реки с нерусским названием Вепрж с Леманом, в свою очередь ведущим с нею беседы о том о сем.

Несколько раз это чуть было не открылось. Вынырнув в явь во время одной из его пауз, она заговорила с Тибо о первом русском скрипичном мастере, крепостном графа Шереметева Иване Батове.

— Именно на берегу безымянной для жизни моей малороссийской колдовской реки, нимало не напоминавшей чудного при тихой погоде Днепра, — сказал ей Леман, разглядывая мусульманские серпики бликов на черешнях, — встреченной нами по пути в вечно воющую Винницу, я особо возмечтал о дочери, мы так с женою мечтали о дочерях, а рождались-то сыновья, и, мечтая о девочке, возмечтал об игрушках, которые мог бы смастерить для нее, в частности, преследовала меня мысль о кукольном домике, на первом этаже коего размещалась бы волшебная антикварная лавка. И пока дорога вилась по берегу речки, по чьим водам, казалось мне, плыл на вечном плавсредстве своем задумавшийся есаул Горобец, моя кукольная придуманная антикварная лавка обрастала деталями, обретая с каждой верстой все большее сходство со знаменитой лавкою петербургского антиквария Дергалова в суконных рядах Гостиного двора.

Торговал Дергалов орденами и музыкальными инструментами, в частности скрипками: кремонскими от Андреа и Николо Амати, Руджиери, Гварнери, Страдивариуса, тирольскими от Штайнера и Клотца, брешианскими от Маджини и иже с ними. Но особо славились и лучше всего продавались скрипки работы петербургских мастеров Штейнингера и русского Страдивариуса — Ивана Андреевича Батова. Новые батовские скрипки стоили до восьмисот рублей, старые до двух тысяч. Батовские скрипки прекрасного дерева, гибкого восхитительного оттенка лака так походили на произведения Гварнери, что продавались под гварнериевским именем.

Батов, родившийся в 1767 году крепостной любителя искусств графа Шереметева, учился ремеслу у московского инструментального мастера Владимирова; в конце обучения скопировал на пари старинную скрипку со сложной резьбой и выиграл большой заклад. Из Москвы уехал он в деревню барина своего, где снабжал графскую капеллу инструментами.

Переехав в Петербург, граф определил Батова для изучения нового для того времени мастерства к фортепианщику Гауку, и через год ученик смог построить замечательное фортепиано. Все заказы выполнял он только с позволения барина, а граф позволял ему работать исключительно для музыкантов, например для знаменитого Хандош-

кина, скрипача и балалаечника князя Потемкина. Однажды Батов сделал Хандошкину фантастического звучания балалайку из старой, вырытой из могилы гробовой доски. Одним из шедевров Ивана Батова была виолончель, «красовавшаяся и телом, и душою», над которой трудился мастер неустанно зимой и весной; виолончель подарил он своему барину Дмитрию Шереметеву, и за нее дал барин вольную и ему, и всему его семейству.

Уважение Батова к старинным мастерам было беспредельно, он реставрировал множество знаменитых итальянских скрипок, спасая их от преждевременного уничтожения. Особое внимание русский шереметевский Страдивариус уделял хорошему дереву, покупая заготовки за большие деньги, иногда доставались ему двери дворцов, усадеб, старинные ворота, фрагменты фернамбуковой мебели разных стран. После смерти Батова осталась только что сделанная виолончель и две неоконченные скрипки, купленные втридорога итальянским банкиром, увезшим их в Италию.

В середине двадцатого века, о читатель, одному из моих друзей в городе Сыктывкаре встретился человек, делавший гитары из ружейных прикладов, кои закупал он в магазине «Спорт—Охота» и вымачивал в особом составе дождевой воды с потаенными добавками в дубовой бочке; гитары выходили отменные, отправлялись в разные города и страны.

Возможно, в доме какого-нибудь заядлого коллекционера, мадридского либо пуэрто-риканского, соседствуют батовская скрипка из дверцы волшебного шкафа начала осмнадцатого столетия и сыктывкарская гитара из прикладов, не ставших ружьями. Так перекуем наконец мечи на орала!

В отличие от Лемана Батов никогда не давал своим струнным созданиям имен; впрочем, было одно исключение — виолончель, за которую отменил для него и его семьи барин Шереметев крепостное право, называл он ее тайным именем «Вольная». Или то было одно из обратных мысленных имен, данное инструменту уже после обретения свободы? Ведь и само время бывает прямым и обратным (последнее, по словам Флоренского, ощущаем мы во сне). Вот только об обратных прозвищах работы нам неизвестно. Хотя один из великих латиноамериканских писателей, чья матушка была русской, назвал нас имена и прозвища монашек давным-давно отзвучавшего монастырского оркестра маэстро Антонио Вивальди, игравшего *concerto grosso*: Пьерина-скрипка, Катарина-кларнет, Бетина-виола, Бьянка-Мария-органистка, Маргарита-двойная арфа, Джузеппина-катарроне, Клаудиа-флейта, Лучета-труба. А мы помним синеглазого Владимира Белова по прозвищу Виолончель, этот Вовка Cello прошел по грани третьего тысячелетия босиком легкой походкой своей с виолой да гамба в руках, и слишком краток был его проход по тропам пустых холмов.

— Почему это, — спросила она, выплыв из сновидения, — считается, что ни одной скрипки мастера Батова не сохранилось? А как же те две неоконченные, увезенные итальянским богачом? И те, продававшиеся под псевдонимами, считаясь чужими старинными творениями? Должно быть, и они где-то есть.

— Я никогда не рассказывал тебе о Батове, — сказал он, вглядываясь в нее, — откуда ты можешь о нем знать?

— Может, ты забыл? — и алые пятна нечастого румянца всплыли у ее скул, она не умела врать.

Он всматривался в лицо ее. Прежде она представлялась ему открытой книгой, совершенно ему понятной, но теперь пришло ему в голову, что он прочел только несколько страниц (или строк?) и ничего об этой книге не знает.

— Может, я читала какую-нибудь статью из старой «Нивы», прочла, забыла, сейчас вспомнила?

Он пожал плечами.

— Может быть.

Вид полуодетой Эрики, сидящей в постели с нарочито недоумевающим видом и пылающими щеками, взволнованной статьей забытого новой эпохой дореволюционного журнала, рассмешил его.

— Мне такая статья не попадалась, я «Ниву» отродясь не читал. Вот о чем я думал время от времени, так это о том, что наш шереметевский Страдивари делал скрипки не просто из выбранных со тщанием в графском поместье елей и кленов, а из дверей незнамо куда ведущих, то же с воротами, из мебели, отслужившей господам, из досок гробовых; так что скрипки его помнили не только о садах и рощах, но о древнем быте, ссорах, примирениях, интригах, вышедшей из моды одежде предков, а также о потустороннем мире, то есть в некотором роде являлись скелетами из шкафа, что не могло не отразиться на их мистических голосах.

— Я люблю тебя, — сказала она, вставая и натягивая хозяйский халат.

— Послезавтра мы уезжаем.

— Возвращаются хозяева?

— Мой оркестр убывает на гастроли.

— Надолго?

— На месяц.

— И муж скоро возвращается, — сказала она, понурившись. — Будем прощаться.

— Прощаться? почему? я приеду с гастролей, пойду к твоему мужу, все ему расскажу, повинюсь, упрошу его дать тебе развод, мы поженимся, проживем долгую счастливую жизнь, у нас будут дети.

Пауза была слишком долгой, Эрика молчала.

— Этого не будет, — сказала она наконец.

— Почему? Ты не хочешь жить со мной, стать моей женою?

— Хочу. Но что желать невозможного. Мужу нельзя разводиться. Он ведь не просто врач, а врач военный, очень талантливый, у него большое будущее. В их ведомстве это называется «моральное разложение». Я не могу испортить ему карьеру. Я плохо поступила. Не знаю, простит ли он меня. Я виновата, я его предала. Я дала ему слово, вышла за него замуж. Конечно, я все ему расскажу. Но мы с тобой больше не увидимся.

— Не предаешь ли ты сейчас меня, когда все это говоришь мне?

— Должно быть, — отвечала она, — я по натуре предательница.

Назавтра они вернулись в город.

Прощались возле памятника-фонтана, с детства пугавшего ее: по фигурам моряков из открытого ими кингстона — погибаем, но не сдаемся! — текла вода; как можно было сцену героической гибели команды «Стережущего» превратить в фонтан, думала она, или все же это памятник?

— Может, мне повезет, — сказал Тибо, — твой муж выгонит тебя из дома, ты вернешься к родителям, и будет по-моему? Каждый первый четверг месяца в шесть часов вечера я стану ждать тебя на скамейке бульвара, где мы встретились. Приходи, когда сможешь.

— И сколько ты будешь меня там ждать? Год? Два?

— Всегда.

Муж задерживался в командировке, время его затянувшегося отсутствия провела она плохо, уже зная, что беременна от Тибо.

— Что это с моей крошкой-женушкой? Бледная, мне не рада.

— Я беременна, — отвечала Эрика. — И не от тебя. Я тебе изменила. Ты можешь меня ударить, можешь выгнать. Ты в своем праве.

Глаза его стали из голубых темными, когда он гневался, зрачки расширились.

— Ты забыла, что я врач? Я не быю беременных женщин, какими бы шалавами они ни были.

И ушел, хлопнув дверью.

На Фонтанке, идя к Неве, неподалеку от цирка встретил он Валентину.

— Валечка, ты знала, что Эрика крутит роман, пока я в отъезде?

— Знала, я их встречала случайно несколько раз.

— Кто он?

— Он еврей, скрипач из оркестра, мы с ним в Ленконцерте здороваемся.

— Ловелас? Бабник?

— Человек как человек.

— Скажи, она хотела меня унижить? Почему? Зачем?

— Глупости, для чего ей тебя унижать. Просто влюбилась.

— Что такое «просто влюбилась»? Замужняя женщина.

— Что такое? Так ведь и ты был в меня влюблен, когда мы были совсем молоденькие.

— При чем тут это? В тебя весь двор был влюблен. Ты же не ложились под всякого и каждого по этому поводу.

— Сам влюбишься по уши, поймешь.

— Кто-то из твоей концертно-цирковой компании прохождения Эрики знает?

— Все.

— Дай мне слово, что никогда от тебя никто ничего о ее шашнях не услышит. Я решил, что буду растить ее пащенка как своего. Надеюсь и до собственных детей дожить. И скажи своим приятелям, чтобы молчали, поговори с ними, они послушают тебя. Пусть забудут навсегда. Обещаешь?

— Обещаю.

— Я буду растить этого ребенка как своего, — сказал он Эрике. — И попробую жить с тобой как ни в чем не бывало, хотя не уверен, что у меня получится.

Беременность Эрики была тяжелая, чувствовала она себя хуже некуда. Свекровь, с первой встречи невзлюбившая невестку, корила сына:

— Говорила тебе, не женись на немке.

Мальчик родился раньше срока, был слабенький, часто болел, но постепенно слабость с болезнями стали израстаться, жизнь налаживалась, с трех лет ребенка вывозили летом за город, снимали дачу в Мельничном Ручье.

Однажды после дежурства у мужа выдался свободный день, Эрика поехала в город за теплой детской одеждой, поехала, накормив своих обедом, во второй половине дня. И словно кто-то подтолкнул ее. На обратном пути села она в трамвай, который должен был проехать около шести вечера мимо скамьи на бульваре, где назначил ей Тибо свидание; был первый четверг месяца, уже несколько лет как настало означенное ее скрипачом «всегда».

Она села в алую «американку» за три остановки до бульвара. Она не помнила текста гумилевского стихотворения про заблудившийся трамвай, но то был тот самый маршрут, запечатленный поэтом, и по этой неведомой ей причине стала она думать: кто же из сыновей Лемана подарил Тибо скрипку? Особо запомнилось ей имя Варвар, ждали девочку, хотели назвать Варварою, опять появился на свет мальчик, ему дали редчайшее имя почти забытого святого; но, кажется, он был один из младших, а дарителем стал один из старших. Старший сын Лемана от первого брака, Левушка, играл с подростком Колей Гумилевым в тайное общество адептов индийской черной богини. Об этих играх упоминал Тибо в плавнях. Мальчиков было семеро (будущий поэт, сын-вья Лемана, нотариуса, обедневшей псковской помещицы, варшавского архитектора, врача, начальника Кабинета Его Императорского Величества): Николай Гумилев, Лев Леман, Владимир Ласточкин, Леонид Чернецкий, Борис Залшупин, Дмитрий Френкель, Федор Стевен. Заканчивался девятнадцатый век, дети играли не в казаков-разбойников, не в сменивших их в интеллигентных семьях (благодаря чтению Майна

Рида. Фенимора Купера, приложений к «Ниве») индейцев, но в каких-то магических, мистических, этнографических мифологических персонажей языческой нездешней системы духовной, в *тугов* или в *тхугов-душител*ей, верных слуг, шестерок темной и страшной индуистской богини Кали, боровшейся с демонами общественными руками демонов личных.

У всех участников имелись прозвища, растаявшие в стремительных потоках воздушных ураганов сменявших друг друга эпох, осталось (случайно?) от этих полутемных сумеречных игр только прозвище Коли Гумилева, Брама-Тама. Переезжая на лето в Поповку, Коля становился Нэн-Саибом (вождем восстания сипаев в Индии) или Надодом Красноглазым (кровожадным героем одного из романов Буссенара); в Поповке тамошние дачные дети ездили верхом, катались на лодке, искали клады по нарисованным ими самими картам на бумаге с обгорелыми краями, состаренной чайным раствором.

Что до тайного общества, adeпты его устраивали собрания свои в людской, под сводами пустого подвала, в заброшенном полуподземелье ледника, — полная конспирация, свечные огарки, тени, выкрики, убийства демонов-убийц. Роль одного из демонов играло огородное пугало, другого — старый безглаво-безруко-безногий (точно ископаемая греко-римская богиня любви) примерочный манекен. Возраст у гимназистов был переходный, детство начинало ускользать, предпубертатные мечты витали, тревожили, пугали; не случайно атаманшей-разбойницей полуокультурной уездно-индуистской команды была избрана роковая черная Кали, вычитанная из адаптированных европейских романов на темы древнеиндийской мифологии.

Трамвай, играя в привычные слуху звоночки свои, неспешно двигался вдоль бульвара. Эрика боялась приближаться к трамвайному окну, страшилась быть увиденной, замеченной. Но Тибо сидел на садовой скамейке спиной к трамвайным рельсам (рядом с ним лежала дремлющая в затейливом футляре скрипка), раскинув руки в стороны на спинку скамейки, он смотрел на деревья, сидел в белой рубашке, у ворота верхняя пуговка расстегнута (она этого не видела, просто помнила, как помнила легкую тень и тепло в приямке ниже горла, между ключиц). «Американка» завернула за угол и устремилась, поддав скорости, на мост через Неву.

Семейная жизнь Эрики в раннем детстве мальчика была странной. Муж простил ее, заботился о ней и о сыне, но что-то ушло насовсем, настоящее тепло с настоящим счастьем.

Однажды муж заметил, как Эрика что-то прячет при его появлении, ему показалось — конверт, бумажный сверток засунула она в ящик под стопку белья. Любовные письма? Фотография хахалы? Он не преминул проверить. Это оказалось дешевое, в виде брошюры, издание «Крейцеровой сонаты» Толстого. Чтение отвратило его от Льва Николаевича совершенно, он и раньше с трудом (с купюрами *мира*) прочел «Войну и мир» (хотя понравились ему «Казачьи» и «Севастопольские рассказы»). С превеликим удовольствием сжег он «Крейцерову сонату», призыв к блуду со скрипачами, в колонке в ванной. Эрика то ли не заметила пропажи, то ли сделала вид, что не заметила. По счастью, она не стала читать и прятать «Анну Каренину» и «Мадам Бовари», а то была бы мужу судьба жечь книги, он и в блокаду их не жег.

Так бы и жили молодые муж с женою на свой лад, вроде вместе, но и не вполне, но началась война с Финляндией, и муж, молодой талантливый многообещающий военный хирург, на финскую войну уехал.

Шла Зимняя война с отчаянным холодом, оттепелями, глубокими снегами, окружениями, «Долиной смерти» под Суоярви, победой в Заполярье, расстрелом перед строем своих дивизий отданного под трибунал командования в Северной Финляндии.

Эрике снились страшные сны с густыми заснеженными бездорожными лесами, где на убеленных снегами ветвях сидели одетые в белое финские снайперы, «кукушки», целившиеся в одетых в белые халаты врачей батальонных медпунктов. Некогда встречались ей в дореволюционных русских журналах (ничейными стопками лежавших на полках в прихожей коммунальной квартиры) графические картинки-загадки «Найди охотника»: в ветвях скрывалась фигура человека с ружьем, иногда анфас, иногда в профиль, порой с наклоном, надо было поворачивать картинку, вглядываться. Теперь загадочные охотники-белофинны, невидимые почти, материализовавшиеся, живые, угрожали ее мужу.

Снег ее снов был изборозжен прорытыми к раненым тоннелями. Железные жужелицы летали под облаками над головой, гадили смертью. Ей и прежде не нравились самолеты, они пугали ее. Она не знала, что в классической пьесе великого русского драматурга героиня, изменившая супругу, романтически восклицает: «Отчего это люди не летают, как птицы?»

Матушка, пересказывавшая маленькой Эрике Евангелие (отчасти на протестантский лад), поведала ей об *искушении полетом*, в ответ на которое сказал Иисус: «Отойди от меня, сатано». Она повторяла полупрошептом услышанные по радио или встреченные в газетах названия: Тайпале, озеро Хасан, Халхин-Гол.

В Зимнюю войну она полюбила мужа, ждала, борясь с суеверными почти телесными страхами, его возвращения. Когда вошел он в неуловимо изменившуюся дверь, жена припала к его груди, и почти с удивлением почувствовал он ее любовь, радость, страх, тепло, намагниченную долготу, длительность зимнего ожидания.

Он привез подарки: почти волшебный резиновый мячик величиной с редиску мальчику, шелковые чулки жене, крошечный стограммовый шкалик водки отцу (такие чекушечки выдавали бойцам, их называли «наркомовские мерзавчики»), невиданные консервы и плитку шоколада матери, шерстяную косынку сестре. Жизнь снова настраивалась, налаживалась, ребенок болел все реже.

22 июня 1941 года застало их на даче в Мельничном Ручье.

Охватившая мир «коричневая чума» (название сие обязано было цвету фашистской формы) докатилась до их города и порога.

Действительно ли француз Камю в своем знаменитом послевоенном романе «Чума» имел в виду фашистское нашествие? Во всяком случае, солдаты, на московском Параде Победы несшие в перчатках армейские знамена гитлеровской армии, швырявшие их перед Кремлем (перед мертвым вождем в Мавзолее и стоявшим на крыше Мавзолея вождем живым и актуальным) на брусчатку Красной площади, после данного действия свои перчатки сожгли.

С незапамятных времен с чумой боролись огнем, кто же этого не знал. Жгли юрты с чумными мертвецами в послевоенной Монголии, спалили охваченную чумой крепость на Кавказе в год Гражданской войны (в крепости, кроме мертвых, были выздоравливающие и почти вылечившие их врачи), предали огню боровшуюся с чумой экспедицию на юге России, предварительно зарубив или заколов штыками врачей и их пациентов, предание авторов сей кардинальной меры борьбы с инфекцией не сохранило, то ли то были «зеленые», то ли махновцы.

Коричневая чума взяла Ленинград в кольцо. Семья Эрики выжила в первую страшную блокадную зиму, муж оперировал, спас сотни раненых; ее с ребенком отправили в эвакуацию. Как известно, эвакуировавший их поезд на юг высадил пассажиров на только что оккупированной немцами станции.

Но всему на свете, как в детстве поведал нам Андерсен — и перевели его слова Ганзены, — *всему на свете приходит конец*.

Есть книги, без которых жизнь наша становится отчасти обобранной, неполной. Одна из таких книг (а мне посчастливилось прочесть ее в детстве; впрочем, вначале де-душка мой читал мне ее вслух) — сказки Ганса Христиана Андерсена в переводах Петра и Анны Ганзен с иллюстрациями Конашевича. В тираже у обложки было два цвета: белый и лилово-розовый, обложка не мягкая и не твердая, толстый шелковистый на ощупь картон, теперь таких нет. Какого цвета была твоя книга? Моя розово-лиловая. Помнишь ли ты ее? Забыть ты ее не мог, так же, как я, так же, как моя подружка детства, так же, как Могаевский.

Петер Эммануэль Ганзен приехал из Дании в Россию в 1871 году, служил в Омске и Иркутске в Северном телеграфном агентстве. Позже он скажет: «Русский язык я выучил в Сибири».

Интересно, что те же слова произнесет почти через сто лет легендарный русский поэт и переводчик Сергей Петров, арестованный невесть за что в 1937 году и после одиннадцати месяцев тюрьмы, на свое счастье оказавшийся до 1954 года не в лагере, а на высылках в Восточной Сибири, в деревне Бирилюса. Петров, университетский филолог, знал в совершенстве двенадцать языков и *русский, выученный в Сибири*, знал как никто. Слова словаря Даля были ему не просто понятны, они встречались в разговорной, обиходной его речи, стихах и поэмах.

В сибирском котле кого только не было: ссыльные «кулаки» — крестьяне всех областей, потомственные петербургские рабочие, пламенные революционеры из эсеров-южан, утонченные интеллигенты. Рассказывали про пылкого польского еврея, боровшегося за независимость Польши, еще Польша не сгинела, ще не вмерла Украина (был ли последний оборот переводом или калькой первого?), отсидевшего в легендарном, Тобольском, что ли, остроге и женившегося на чулимке, беловолосой, белобровой, с белыми ресницами.

Встречались чалдоны, в роду которых были женщины северных народов, ненцев, нивхов, эвенков, чукчей. Каких только оборотов речи не слыхивал попавший сюда невольный этнограф!

Итак, выучивший русский язык в Сибири (а в Иркутске, например, довелось ему встречаться с крещеными корейцами, чьи предки дружили со ссыльными декабристами) Петр Эммануэль Ганзен, в России обретший не только второе отечество, но и отчество и именовавшийся Петром Готфридовичем, в 1881 году переехал в Санкт-Петербург. В Сибири он уже начал заниматься переводами. Перевел на датский, в частности, «Обыкновенную историю», с Гончаровым они переписывались. Когда в Дании начали выходить произведения Толстого, в том издании участвовал и Ганзен. По поводу перевода «Крейцеровой сонаты» возникла сперва переписка со Львом Николаевичем, потом они познакомились лично.

Ганзен успел стать отцом, овдоветь; в Петербурге поместил он в газете объявление: мол, ищу помощницу, которая могла бы секретарствовать, а также вести хозяйство. Откликнулась на объявление Анна Васильевна Васильева, знавшая три языка, окончившая гимназию с серебряной медалью. В 1888 году она стала его женой. К свадьбе Анна знает уже четыре языка, с помощью Петра Готфридовича выучив датский. Ганзены начинают переводить вместе.

Из каких таинственных глубин возникли — точно чудом — переведенные ими сказки Андерсена? Это один из лучших переводов русской переводческой истории, аутентичный, не нуждающийся в иных вариантах других толмачей. Выученный в Сибири мужем русский, полудетские гимназические знания молоденькой романтической жены, аудитория слушателей из их собственных детей (а они читали детям андерсеновские сказки вслух, и когда попадались периоды текстов, на которых дети уставали, отвлека-

лись, внимание их ослабевало, родители переделывали, переписывали, редактировали) — все сложилось в эти благодатные волшебные страницы.

Вот разбудите меня среди ночи, извлеките мгновенно из сна, вечно недосыпающую полуночицу, достаньте рывком, как не должно с глубины водолаза доставать, спросите: что знаю я о Китае? не Великую Китайскую стену, не сжигавшего книги, отгородившегося от прошлого и настоящего императора, не глиняное императорское войско (все воины с портретным сходством в человеческий рост; зачем? не было ли потайного слова, оживляющего армию големов, магических победителей всего и вся?), не изменившие жизнь изобретения: порох, бумагу, фарфор; не даоса, произнесшего: «Ни ум, ни талант не являются достоинствами настоящего человека. Достоинства настоящего человека неприметны»; не любимого поэта Ли Бо; не последнего императора Пу И; не мраморный паром великой императрицы Цыси; не город Сезуан (так немец Бертольд Брехт назвал Сычуань) и проживающего в нем доброго человека; не город Ухань, плачу и рыдаю, с его летучей мышью; не город на той стороне Амура, куда ходила по ночному льду со стукачом бабушкина сестра Лилечка к перешедшему после революции на китайскую сторону любимому брату Константину; не святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, спасшего этого брата в числе других русских эмигрантов, которых в красном Китае должны были расстрелять, перевезшего их в Сан-Франциско через остров Тубаобао; не изощренно выклеенные из тонкой яркой разноцветной бумаги китайские веера (меняющие форму, если их встряхнуть) первомайских и ноябрьских послевоенных праздников; не работы художника Ци Бай Ши на рисовой бумаге; не курсовые отмывки тонкотертой китайской тушью по истории архитектуры в училище Штиглица; не дальневосточного торговца, приходившего в дом Лилечкиного мужа: «Мадама, капитана дома? Купи мадаме соловови цулоги. Ах, капитана, какая твоя мадама шан-го! Пу шан-го!»; так спросите меня, что знаю я о Китае? — и отвечу чудесной фразой ганзеновского перевода андерсеновской сказки: «В Китае все жители китайцы, и сам император китаец».

Ганзеновский переводческий талант передался потомкам. Дочь Петра и Анны Марианна Петровна была устной переводчицей (синхронисткой), так же как ее дочь Марианна Сергеевна Кожевникова. Последняя печатала на машинке, мне посчастливилось с ней познакомиться, издательство требовало подачи рукописи, напечатанной развернутым шрифтом; моя трофейная (дедушкина) «Эрика» с клавиатурой портативки не подходила. У Марианны Сергеевны в доме было множество pocket-book'овских детективов Агаты Кристи, она давала их почитать знакомым, читала и я. Сын Кожевниковой, Петр Кожевников, писал прозу, снимался в кино, высокий, красивый, в девяностые годы состоял в партии «зеленых», экологов, спасал природу от браконьеров, некие антагонисты неведомо какой партийной принадлежности избили его (классический аргумент прибалтийских девяностых), похоже, черепно-мозговая травма была одной из причин его отсроченной ранней смерти. Дети Петра, отчаянные мальчишки (в их числе близнецы Игнат и Елисей) и очень бойкая девочка, варяги, викинги, навели шорох на прежде тихую, полусонную территорию писательских (литфондовских) комаровских дач; а малютке Василисе было около года, когда она осиротела.

Сводная сестра Петра Инна Стреблова, скандинавистка, посещавшая семинар Сергея Петрова, стала одной из лучших петербургских переводчиц. Получается, что Инна Павловна, правнучка человека, выучившего русский язык в Сибири, оказалась — по странному совпадению — еще и ученицей другого человека, тоже выучившего в Сибири русский язык. Видимо, сработало и то, что для Петра Ганзена русский его второй родины (так называл он Россию) был языком новым, во всей свежести и первозданности явленным. Помните, как говаривал Кузьмин о Мандельштаме? Мол, Осип потому так

прекрасно чувствует русский язык, что только что его выучил. Опять-таки, хотя генетика в Советской России была под запретом, хотели ее законы на запреты чихать и себя вельми соблюдали. Вот и достался Инне Павловне дар прадедушки с прабабушкой, да еще овеянный ветром Сибири, куда сослана была, считай, вся страна. И в ее переводах чувствуются необычайная пластичность, свобода, многоголосие, словарное разнотравье почти утерянной нынче русской речи, обедненного за столетие утратой оттенков, разнообразия кустов и соцветий русского языка.

Петр Готфридович Ганзен уехал из России в Данию в 1917 году. Анна Васильевна осталась в Ленинграде, муж присылал ей новинки датской литературы, теперь она переводила их одна.

Анна Ганзен умерла от голода в ленинградскую блокаду, похоронена в братской могиле на Пискаревке, а на Смоленском кладбище возле могилы рано ушедшего сына («от неосторожного обращения с огнестрельным оружием») стоит ее кенотаф. Но об одной подробности жизни Марианны Сергеевны Кожевниковой я узнала только вчера: и она, и ее матушка были переводчицами на Нюрнбергском процессе.

Итак, всему на свете приходит конец.

К концу стала стремиться и война, словно достигшая уже своей наивысшей точки подъема, своего акмэ, и, перевалив пик некоего воображаемого эльбруса, двинула вниз по склону. Впереди было еще почти два года, даже больше, жестокие сражения, потери, но словно проскочило все в другой ареал поля времени, исход был предрешен, никакого блицкрига, победы не ожидало немецкую армию, а детали действительности подтверждали этот замаячивший на горизонте крах, превращаясь в знаки, в приметы.

Таким увидел в пути своем (из станиц) Кавказ Эрнст Юнгер: несчастья, следовавшие одно за другим, страшные ближние бои, мощные ливни, сели, разрушающие мосты и делающие непроходимыми дороги, караваны измученных животных, висят на дереве (издалека напоминая елочную игрушку) возле взорванного моста мертвая лошадь, облепленные глиной мертвецы на обочинах, взрывы мин, растерянные случайные собеседники (один из них, например, рассказал, что лейтенант Райнер, чье надгробие хорошо помнил Юнгер, оказывается, был гениальным садоводом, выращивавшим и создававшим удивительные сорта плодовых деревьев и цветов), потоки грязи, окружающие штабы, госпитали, продовольственные склады; на одном из склонов ущелья Мирное в тумане среди армии дубов и диких груш внезапно возникла группа могил с крестами в сыром, оплетенном серыми прядями белой туманной мглы девственном лесу, на одном из крестов означено было имя павшего в октябре 1942 года старшего ефрейтора саперов: Герберт Гоголь.

В начале сорок третьего в виде знания или в форме предчувствия было ясно абсолютно: разгром фашистской армии неизбежен и не за горами. Так и в комендатуре, в которой пребывала Эрика, вместо настроения самоуверенности, молодечества, презирающей разгильдяйство побежденных дисциплины возникли оцепенение, подавленность, тихая, еле скрываемая паника, предвещающая приближение советских войск. Бегали, таскали ящики, приезжали на мотоциклах связные со стопками приказов и реляций, возникло некое броуновское движение, похожее на непонятную оку суету обитателей микроскопа. В какой-то момент вместо занятых почти беспорядочной беготней вестовых, ординарцев, низших чинов пришлось Эрике самой относить офицеру на квартиру пачку бумаг, донесений, распоряжений и сообщений; иные были только что привезены умчавшимся мотоциклистом, иные со слов радиста напечатаны были ее рукой. Переступив через порог комнаты, видимо служившей офицеру одновременно гостиной и кабинетом, она остановилась как вкопанная, вцепившись в пачку принесенных ею листов.

На стене, противоположной входу, висела скрипка. Эрика смотрела на нее неотрывно. Ей показалось, что это скрипка Тибо. Офицер ей что-то говорил, она не слушала, он взял у нее из рук принесенные ею документы, недоумевая, не понимая, что с ней.

— Вы играете на скрипке? — спросила она, заговорив наконец.

— Нет.

Вдруг дошло до нее, что она не разбирается в струнных и смычковых, видела одну-единственную, может, они все похожи, но если ей удастся взять скрипку в руки, повернуть и посмотреть — есть ли на ее спинке, под лопаткой, на тыльной стороне, родинка...

— Могу ли я посмотреть ее? взять в руки? Откуда она взялась?

— Можете, фрау Эрика, само собой. Мне досталась она в тот день, когда в овраге расстреливали здешних евреев вместе с эвакуированными. Один из евреев нес очень красивый старинный футляр, естественно было предположить, что в футляре ценный музыкальный инструмент. Я не мог допустить, чтобы его продырявили автоматной очередью или пулями, и велел солдату отобрать у еврея скрипку. Солдат отбирал, еврей не отдавал. Да сколько можно, сказал я, дай ему в зубы, я скрипок не расстреливаю. Получив прикладом по лицу, еврей словно отрезвел, отдал скрипку и, видимо, понял, куда их ведут, потому что сказал на ломаном немецком: «Вы бы хоть детей отпустили». Дай ему еще раз и поставь в строй, сказал я солдату. И тут этот идущий на расстрел, вытирая кровь, стал, глядя в сторону, улыбаться, рехнулся, что ли, предчувствуя смерть.

Отирая кровь, размазывая ее тыльной стороной ладони, Тибо глянул вдаль, посмотрел на боковую улочку и в середине ее увидел удаляющуюся, почти бегущую Эрику, которая вела за руки двух мальчонков, беленького постарше и повыше слева, маленького кудрявого темноволосого справа. То ли музыкантское, то ли предсмертное чутье осветило, словно лучом прожектора, возлюбленную его, и знал он теперь точно: младший мальчик — его сын. Она тут, у них есть сын, у него есть сын, Эрика уводит его прочь от дороги смерти, их ждет жизнь, какое счастье. Эти открытия заставили его улыбнуться, он улыбался, идя к оврагу, и продолжал улыбаться, когда его расстреляли, успев подумать: может, мы и ехали на одном поезде...

— Могу ли я взять скрипку в руки?

— Разумеется, — отвечал немец, пожав плечами.

Не дойдя полуметра, уже протянув руки, она потеряла сознание. Ее перенесли на диван, плескали в лицо водою, офицер влепил ей пару пощечин, достал нашатырь из походной аптечки, привел ее в чувство.

— Что с вами?

— После зимы в блокированном Ленинграде со мной такое бывает.

Она попробовала сесть, голова закружилась.

— Ганс, Ганс! Надо взять машину и отвезти фрау Эрику к фрау Ключе.

Христина уложила Эрику, та тотчас то ли уснула, то ли опять потеряла сознание, к вечеру горела, как в лихорадке, и так, в полубеспамятстве, полуболезни, провела сутки.

Проснувшись, Эрика услышала тишину.

— Тихо... — сказала она Христине.

— Тихо, — отвечала та. — Совсем тихо. Ушли немцы.

И стал медленно, медленно, неспешно улетучиваться воздух чужого дыхания, забываться цвет горчично-коричневой военной формы, стали покидать слух звуки вражеской речи. Валявшиеся вокруг комендатуры и в ней самой бумаги начали было растаскивать на растопку и на самокрутки, но нашлись сознательные, собиравшие документы, доказательства, сведения, чтобы передать возвращающейся советской власти.

Таяло, развеивалось, но ведь не все. Теперь можно было поставить повешенным на станции в первые дни оккупации советским руководителям, строптивым невежливым железнодорожникам, расстрелянному за шалость мальчишке обелиски и кресты. И ма-

ячил темной ямой небытия окраинный, полный истлевающих тел евреев и их жалкого скарба овраг, от которого один из ветров приносил веяние хлорки, смерти, страха, невозвратных волн и корпускул былых жизней.

Несколько дней подряд Христина уходила из дома на несколько часов, возвращалась с вестями.

— Говорят, на станции поезд собирают и бригаду железнодорожников. И еще слышала: в одном из освобожденных городов будет суд над пособниками фашистов. Надо вам уезжать.

Эрика безучастно слушала ее. Наконец в один из вечеров Христина прибежала, сказала с порога:

— Собирайся. Завтра ни свет ни заря поезд. Уезжаете вы. Я на станции договори-лась, придем к поезду раньше всех, вас посадят. Что ты сидишь? Ты меня поняла? Пора уезжать.

— Куда?

— Как куда? В Ленинград. Да очнись ты. Если суд над предателями начнется, всех отыщут, не только полицаев, многие знают, что ты в комендатуре работала, но пока суд да дело, пока весть о суде до главных начальников дойдет, ты успеешь доехать, отдать мальчонку отцу и положиться на волю Божию.

— Меня расстреляют?

— Может, в лагерь отправят, в Сибирь или еще куда. Тебе надо успеть до ареста сына отцу отвезти, лагеря для малолеток, детей врагов народа, плохие, те, кто там выживают, выходят оттуда уголовниками, не всем везет. Меня тоже могут расстрелять, девонька, ежели вдруг кто донос напишет, что немцы у меня курей да яйца брали, фамилия у меня немецкая, да я еще им по-немецки отвечала, разговаривала с ними. И ихний старший гад, офицер, меня за что-то уважал. Я не курей им давать должна была, а у калитки с топором встречать.

И они уехали.

Поезд был собран из разных вагонов, с бору по сосенке, один грузовой, другой телячий, третий общий, четвертый купейный. Полупустым двинувшись со станции, к пункту назначения прибыл состав полным под завязку.

Вид Ленинграда, претерпевшего войну, был знаком Эрике с первой блокадной зимой, но теперь на развалинах копошились люди, разбирали завалы, и это были не военные (ведь война еще шла, откатываясь к границам, перехлестывая их, осваивая названия чужих городов, подтягивалась к маячащему в следующих календарных идах знамени над Рейхстагом), а мирные (хотя не совсем еще применимо было к ним это слово) жители, горожане, ленинградцы.

Третью ее дома детства с квартирой родителей разбита была бомбою, превращена в руину. Эрика впервые за долгие месяцы расплакалась, увидев ее слезы, заплакал и сын.

— Эрика?

Ее взяла за рукав женщина, так и не узнавшая ею.

— Не плачьте, ваши живы, мы с ними были вместе в бомбоубежище, когда это случилось. Они живут в другом месте, то ли на Охте, то ли в Лесном.

— Спасибо, спасибо!

Утерев слезы, Эрика побрела к дому тетушки. Она тащила мальчика за ручку, в другой руке несла пишущую машинку свою и узелок с едой от Христины. Рюкзак был тяжелый, с невеликим их скарбом, она могла бы идти быстрее, если бы шла одна.

Она взялась за ключик затейливого механического звонка с отлитой по кругу надписью: «Прошу повернуть».

Ей открыл дверь ее двоюродный брат.

— Эрика! Ты ли это? А племянничек-то вырос как! Твои живы, живы, они в Лесном.

Тетушкин муж, заводской мастеровой, модельщик, заспешил домой, не дожидаясь отбоя, попал под обстрел, погиб; тетушка заболела, затосковала, второй блокадной зимы не пережила.

— У нас сейчас живут дальние родственники, их дом разбомбили, ничего, моя комната не маленькая, переночуете, отправимся в Лесное.

— Нет, — сказала Эрика, — папа и мама не должны знать, что мы вернулись. Я тебе все расскажу.

Двоюродный брат, полунемец с русской фамилией, принадлежал к возникшей в послереволюционные годы особой части непотопляемого населения, усвоившей некие неписанные правила бытия. Возможно, сии свойства с оглядкой на будущее зародились еще в конце девятнадцатого века, что позволило известному юмористу тех лет Лейкину ввести их в обиход, озвучив; он назвал обладателей новых черт «неунывающие россияне».

Умение смотреть сквозь пальцы на тяготы бытия и людские недостатки, способность не то что сжульничать либо смошенничать, но маленько смухлевать, особый талант к человеческим контактам безо всякого позднейшего руководства Дейла Карнеги, отсюда широкий круг знакомств среди разных слоев общества, хорошая память, острота реакции, особого рода терпение — таковы были основные черты *неунывающего россиянина*, коим несомненно являлся кузен Эрики.

Выслушав рассказ ее об оккупированной станице, комендатуре, немецком офицере (тут чуть-чуть запнулась она, о главном своем страхе смолчала, кузен ничего не знал ни о ее измене мужу, ни о том, что мальчик был наполовину еврей) и ожидаемом суде над изменниками Родины, а также о том, что Эрика, стоя у руин родительского дома, пережив смерть родителей и узнав, что они живы, решила не сообщать им об ожидающем ее аресте.

— Тебя надо устроить на работу.

И он устроил ее на работу на фабрику, похлопотав и о служебной площади; поселилась она с сыном в каморке под лестницей, бывшей дворницкой с двумя старыми диванами, старым шкафом, топящейся «буржуйкой». В подарок принес керосинку, две чашки, кастрюльку, две пары аккуратно залатанных валенок.

Эрика все время ждала: когда арестуют? когда за ней придут? Она уже знала: ее муж живет с новой женою недалеко от их фабричного убежища, в одном из двух самых больших домов старинной улицы; точный адрес был ей неизвестен. Пора было подкараулить его, поговорить с ним о сыне, но она постоянно оттягивала этот разговор.

К тому же их обвело непонятным облаком незнамо откуда взявшегося долгоиграющего времени. Она уходила на работу, мальчик оставался один, играл в подаренный дядей «конструктор» или смотрел картинки тоже дареных толстенных переплетенных старорежимного приложения к «Ниве», фолианты самой «Нивы» и «Советского кино». Читать он еще не умел.

Зима настала быстро, белый занавес упал, ударил мороз, в быстром ледоставе встали реки, и они стали гулять по Неве и под мостами ее. И в прежние дореволюционные годы по Неве ездили на конке, а в довоенные катались на лыжах; теперь вода превращалась в твердь быстрее быстрого, таковы были ледоставы необъявленных пятилеток особо холодных зим. Все городские реки покрывались необычайной толщины льдом — Нева, Фонтанка, Мойка, Смоленка, Монастырка, Пряжка — и превращались в дороги. Ходили через реку, пересекались причудливо торные тропы от спуска к спуску, проходили под арками мостов, вели к прорубям, откуда по-деревенски носили воду, на солнце сверкали белые дороги необычайного сезонного мира, тоже сельского, деревенского, всероссийского, скрипел чистый снег под ногами, внизу спала толща воды, немотствовало дно. И только весной (о, эти весны войны!) после ледохода, когда отыграет в свои белые ледяные письма озеро Нево с Маркизовой лужею, вместо льдин

Ладожского льда по Неве пускались в плавание мертвецы, освобожденные из снежного и ледяного плена, некогда вмерзшие в белизну в черно-алые дни боев. Они плыли рекой, и горожане, привыкшие за время блокады к покойникам, к которым привыкнуть невозможно, начинали сторониться реки, превратившейся в Лету, — точно так же, как стремились к ее белого российского простора белым дорогам за водой и за тишиною. В городе в любой момент пешеходу могли преградить путь развалины разбомбленного дома, выпавшие на улицу; а стоявшие нынче белые дороги рек всегда были свободны, их не обстреливали, человек прибодрялся в их мистической подобной сну нейтральной полосе. И недаром одна из белых дорог стала Дорогой жизни; впрочем, ее то обстреливали регулярно.

Перед Новым годом дядя принес крохотную елочку, поместившуюся в его рюкзаке, старинную блестящую елочную игрушку, три конфеты, четыре листочка цветной бумаги, из них мать с сыном склеили бумажные разноцветные цепи. На верхушке елочки красовалась самодельная Вифлеемская звезда. Эрика на ночь рассказала мальчику про Рождество, про волхвов, пастухов, ясли с овцами, ягнятами, коровой, собакой и кошкой.

Но однажды вечером их покровитель и даритель прибежал ненадолго, совсем ненадолго, шептался с матерью. «Завтра», — шептал он, показывал ей клочок бумаги. «Запомни его адрес, — шептал, — запомни дом и квартиру, тебе не оставлю, сожгу дома». Он ушел, тихо, мгновенно, словно его и не было.

Снег падал, как заведенный, засыпая город, неубранные руины, красоты, крыши, улицы, площади, переулки, следы, обеляя все.

Муж Эрики жил в довоенном доме, где квартировали люди, достойные отдельных небольших квартир.

Его новая жена, высокая, ладная, спокойная Ольга, прошедшая пути войны военврачом, успела распустить к ночи уложенную на затылке косу, расчесывала длинные золотистые волосы.

Раздался звонок.

Оба они хорошо помнили дни и часы, когда оказывался он не единожды в известном доме известного ведомства, где беседовали с ним о предавшей Родину Эрике, где стоял он навтыжку перед кричащими на него следователями, всякий раз и сам он, и Ольга не были уверены, что он вернется домой. Ему не давали говорить, он слушал, подписывал бумаги, в которых отказывался от предательницы жены. Уже известно было о начавшихся на юге процессах над предателями.

И он, и Ольга решили: за ним пришли.

— Я открою, — сказал он.

На пороге стояла Эрика, снег таял на ее платке, на осеннем пальто, на остроносых некогда щегольских валенках.

— Входи, — сказал он. — Говори тише. Нас слышно на лестнице. Зачем ты пришла?

— Пришла за помощью. Меня завтра арестуют. Ты прекрасный хирург, спас тысячи людей, оперируешь и лечишь известных людей, больших начальников, тебе не откажут.

— Если ты хочешь, чтобы я за тебя заступился, этого не будет. Ты Родину предала. Я просить за тебя не стану.

— За меня заступаться нечего. Я сидела в их подлом гнезде, печатала их поганые приказы, работала на них, ареста заслуживаю. Я пришла не за тем. Возьми мальчика. Лагеря для малолеток, детей врагов народа и предателей, плохие. Он выйдет оттуда, если выйдет, уголовником, шестеркой бандитской, пьяницей, конченным человеком. За что? Он еще маленький. Возьми его, попроси за него, тебе не откажут.

Короткие паузы между репликами казались длинными непомерно.

Наконец он сказал:

— Хорошо. А как я его, как ты выражаешься, возьму? Если уведут вместе с тобой, выцарапать его будет трудновато. И говори тише. Стены имеют уши, на площадке еще две квартиры.

— Я его сейчас приведу. Разбужу и приведу. Тут недалеко.

— Что ты ему скажешь?

— Скажу: ты вернулся с войны. Он все время спрашивает, когда папа вернется. А про себя скажу: мне надо уехать далеко и надолго. На время у него будет другая мама. Без него туда минут двадцать. С ним, обратно, минут сорок. Через час будем.

— Комендантский час, на улицах патрули.

— Сюда бежала — никого не встретила.

— Не звони, поскребись в дверь, будем слушать. Не говори с ним на лестнице. Нет, погоди, постой. Дай мне слово, что, если вернешься, не будешь искать встречи с ним, узнавать о нем — и так далее. У него будет другая жизнь.

— Даю слово.

Он тихо закрыл дверь, прислушался. На лестнице ни шажка, в валенках своих сбегала Эрика бесшумно, дверь придержала, ни звука.

— Ведь ты не против? — спросил он застывшую у стенки прихожей Ольгу.

— Нет, нет! — вскричала она шепотом.

Снег заваливал город, заметал улочку под окнами с флигельками, пространствами дворов за ними, зеленым забором.

В дверь словно мышь заскреблась.

Раскрасневшаяся Эрика ввела за ручку обмотанного старым оренбургским платком сонного мальчонку. Ольга быстрым движением, неожиданным для такой высокой статной женщины, присела перед ним на корточки, размотала платок, стащила пальтишко.

— Идем, идем, я тебе на диванчике постелила.

По этому движению Ольги, по лицу ее поняла Эрика: будет любить ее ребенка, жить его жизнью.

Он оглянулся на мать, та обняла его, расцеловала, запах матушкиных рукавов, мягкие пушистые волосы на его щеке, маленькие, теплые даже в холод, сильные и нежные руки. Он был такой сонный, что не расплакался и позволил Ольге увести себя в одну из комнатушек, где уснул, едва коснулся подушки.

— Спасибо тебе. Прощай.

Закрыл дверь за Эрикой, опять прислушался, ни звука.

Ольга вошла в их спальный закуток со счастливой улыбкой:

— Спит.

— Да ты рада-радехонька, доктор Домогаева.

— Когда в доме ребенок спит, дому в радость.

В ту ночь снег замел все дороги, а патрули про их околотов запаматовали вовсе.

Бездетная Ольга воспитывала и растила приемного сына так, как делала все: исто-во и неотступно. Мальчик и так пошел в школу позже, чем положено, впрочем, переростков среди послевоенных первоклассников было полно; пришлось, когда переехал к отцу, вместе с адресом поменять и школу. Чтобы взяли его учиться в одну из лучших городских школ неподалеку от нового дома, отец в форме и при наградах ходил просить за него к директору.

Время было холодное, голодное, но в доме мамы Оли каждая мелочь словно согрета была теплом ее рук.

Детям не хватало учебников, тетрадей, ручек, перьев, карандашей (в те времена встречались карандаши-коротышки, их затачивали до трехсантиметровой длины, бергли, как огарки и обмылки); зато учителя в новой школе, энтузиасты, мечтатели, «старая гвардия», были лучшие из лучших.

Ему плохо давались чтение и письмо. Ольга занималась с ним бесконечно, в итоге стал он свободно читать и писать, даже сдал экстерном экзамены за четвертый класс.

Отец, блестящий хирург, спасший тысячи раненых в блокированном городе, был для него божеством. Он и учиться-то старался, чтобы быть достойным такого отца, не подкачать, не ударить лицом в грязь. Он был в пятом классе, Ольга ушла в магазин, отец позвал его.

— Я должен сказать тебе то, что до сих пор от тебя скрывали. Хорошо, что мамы Оли нет, это мужской разговор. Твоя матушка Эрика во время войны в оккупации предала Родину, она работала в немецкой комендатуре. Ее арестовали, судили, посадили в тюрьму, отправили в исправительно-трудовой лагерь на долгие годы, а может и навсегда. Дай мне слово, что, если ее отпустят оттуда, ты никогда не будешь с ней видеться, ни с ней, ни с ее родителями. Ты должен забыть о ней и о ее позорном поступке навсегда.

Мальчик стоял перед отцом, став словно бы еще ниже ростом, сжавшийся, бледный, маленький.

— Дай мне честное слово.

— Честное слово, папа.

— Ты мужчина, — сказал отец, — и должен слово держать.

Он и держал данное отцу слово всю жизнь, ничего о судьбе матери не знал, узнать не пытался. То, что он вспоминал ее, думал о ней, иногда видел во сне, не считалось, про сны и мысли он честного слова не давал.

Отец был очень занят на работе, все заботы о мальчике взяла на себя Ольга.

Вот в чем отец принимал участие — в спортивных занятиях сына. Сам он в детстве знал дворовые игры, гоняли мяч, бегали стометровку на стадионе, катались на лыжах и коньках, такие городские щенята, не всегда присмотренные, подрабатывающие на мороженое колкой дров, добывающие бревна и доски, плывущие по городским рекам, самодельными *пикалками* — заостренными железными прутьями или палками, на одном конце вбит гвоздь без шляпки, в другой ввинчен крючок. Выловленные дрова продавали за гроши. Иногда наниматель, которому требовалось, например, притащить на тачке за три квартала и поднять на четвертый этаж огромный шкаф, обманывал своего малолетнего наемного грузчика, а если тот настаивал, чтобы ему заплатили, еще и подзатыльник давал. Эти обиды профессор, крупнейший хирург, помнил всегда так остро и ярко, словно до старости жил в нем обманутый дворовый подросток.

Отец не хотел, чтобы сын рос гогочкой, маменькиным сынком, слабаком, ходил с ним на лыжах, катался на велосипеде. Летом парнишку отправляли в пионерские и комсомольско-молодежные лагеря, до спортивного лагеря он не дотягивал.

За год до окончания школы отец решил проехать с сыном по маршруту Ленинград—Орджоникидзе—Тбилиси—Сочи, туристическая поездка на поездах и автобусах, мужская поездка, которая обсуждалась с Ольгой, та сначала не соглашалась отпускать их вдвоем, потом решилась.

— Будет у вас мужская поездка. Вот только ты при нем особо не заглядывайся на особ женского пола, наш подросток склонен во всем тебе подражать.

Муж рассмеялся.

— Ты напомнила мне анекдот про мужскую поездку.

Юмор у него обычно был простоватый.

— Приходит жена к мужу и говорит: мальчик наш уже вырос, пора рассказать ему об отношениях между полами, но только так, чтобы его чувств не оскорбить, деликатно, на примере собак и кошек, например, или рыбок и птичек. Вечером вызывает отец сына в соседнюю комнату и спрашивает:

— Помнишь ли ты нашу летнюю мужскую поездку?

- Помню, папа.
- И как в городе Энске в гостинице двух девиц встретили?
- Помню, папа.
- И ты пошел в номер к беленькой, а я к черненькой?
- И это помню.
- Так вот, мама просила тебе передать, что у собак, кошек, рыбок и птичек все тоже самое.

Их турне проблему спорта осветило особым образом: он увлекся туризмом. То было модное молодежное увлечение пятидесятых—шестидесятых годов. Маршруты, карты, туристские соревнования, зажечь костер под дождем одной спичкой, сложить рюкзак на скорость, на скорость поставить палатку, переправа, залезть на дерево, скалолазание, ночевка в снежных горах, значок «Турист СССР» и так далее. Он ездил в Карпаты и Закарпатье, собирал (в институте, уже окончив школу с золотой медалью) урожай в Казахстане, сплавлялся на лодке по Чусовой, увлекался скалолазанием, жил в альпинистских лагерях Домбая, Тянь-Шаня и Памира, посещал Забайкалье, за активную комсомольскую работу был поощрен двухнедельной поездкой в Будапешт и в Дебрецен.

Окончивший школу золотой медалист некоторое время колебался: в какой институт поступать? Его привлекала журналистика, очаровывал театр, проявлял он несомненные способности к физике и математике. Он был упорным, прилежным, почти идеальным учеником, но то, что позже назовет Лев Николаевич Гумилев *пассионарностью*, способность не щадить ни времени, ни сил, ни жизни ради любимого дела, в отличие от отца, в нем отсутствовало. Он выбирал — и в конце концов выбрал едва только начинающееся, зарождающееся освоение космического пространства, заинтересовала его радиотехника, гироскопы — и поступил в ЛЭТИ.

Помнит ли сегодня хоть кто-нибудь первые телевизоры страны с их малюсенькими экранами, увеличенные присобаченной перед экраном водяной линзой? а подобное КВН блистательное театральное опереточное, намекающее на появление мюзиклов действо «Весна в ЛЭТИ»? То был легендарный студенческий самодеятельный спектакль, пьеса в стихах, оттепельный карнавал будущих технарей с музыкой тогда еще никому не известного Колкера. В те годы техническое образование считалось самым престижным; а в ЛЭТИ, куда рвались все, работало множество кружков: хоровой, оркестровый, танцевальный, драматический, акробатический; здешние баскетболисты играли за сборную СССР. В общем, передовой край научной мысли окрашен был веселой дискотечностью и почти принудительной, но такой желанной *невыносимой легкостью бытия*.

Ольга с сыном посмотрели это невероятное действо с восторгом, что в будущем несомненно определило выбор института. Отец на спектакль не пошел, он не любил ни театра, ни филармонии, предпочитая им оперетку и цирк.

Незадолго до того, как будущий Могаевский поступил после института в аспирантуру известного городского НИИ и занялся там наукою, его почти забытый двоюродный дядюшка загрузился в общий вагон поезда на восток (в отличие от поездов на юг, чьи рельсы придерживались меридианов, этот катил по одной из параллелей). Ехал дядюшка с пересадками, как некогда форейторы, почтальоны, труженики перевозок. Перевалив условную границу (или все же безусловную?) между Европой и Азией, Урал, называемый некогда Рифеем, неунывающий двоюродный россиянин продолжал двигаться на восток в небольшой, стремительно растущий старинный сибирский город, где надеялся увидеть двоюродную сестру.

Открывая дверь, Эрика услышала голоса.

- ...Настоящая правильная жизнь.

— Настоящая и правильная, — отвечал хозяин, — это не одно и то же.

Она вошла, муж вышел навстречу:

— У нас гость.

— Гость? — спросила она недоуменно. — Кто?

По этому удивленному «кто?» ясно было: тут живут уединенно, тихо, гостей не ждут.

— Да я это, я, Эрика, — сказал, улыбаясь, выходя из крохотной кухоньки в прихожую с горсточку неунывающий кузен ее.

Совершенно другая женщина стояла перед ним. Совпадал только рост; пожалуй, когда вскричала она: «Петрик!» — и улыбнулась, что-то узнаваемое мелькнуло в облике ее. Не было пушистых кудряшек — волосы прямые, подстриженные в скобку, потемневшие, с сединою, соль с перцем. Не было щеголеватой одежды, знакомой, сшитой собственноручно, сложноцветной кофточки, юбки вразлет, все монохромное, незаметное, разве что идеально отглаженное-отпаренное, как прежде.

Другая женщина с другой фамилией, другим мужчиной, из другого дальнего города.

— Как ты меня нашел?

— Нашел, как видишь, — отвечал он, очень довольный, — люди помогли.

— Чем же тебя угостить? У меня картошка в чугушке, сейчас разогрею... о, огурчики есть домашней засолки...

— Знал бы, — сказал хозяин, — что гость при пороге, припас бы водочки чекушку.

— Так я привез! Только не водочку, вино; Эрика, очень хорошее, «Алазанская долина».

— Грузинское, — сказал хозяин.

— На сколько ты приехал?

— Часа через три уйду.

— Как это так?!

— Видишь ли, еду на перекладных, с пересадками, с поезда на поезд, временами на собаках, все по времени рассчитано.

«На собаках» означало на жаргоне тогдашних пассажиров — на пригородных электричках, с одной на другую, меняя станции и города.

— Я тебе два подарка привез. Один — известие на словах: сын твой школу окончил с золотой медалью, поступил в институт, сейчас в армии. А второй — газетка армейская, где он, на самом деле он на флоте, на своем плавсредстве в профиль в бескозыркеazole леера позирует фотографу на фоне Балтийского моря.

Взяла она газетку, руки ее дрожали; увидев фото, тотчас вышла в комнату.

— Смотреть будет, читать, — сказал хозяин шепотом, — потом в шкатулку положит, вернется.

— А что в шкатулке?

— Денег сто рублей, два колечка, подаренья мои, не носит, шарф цветной газовый французский, тоже не носит.

— Где же ты ее нашел, кузину мою?

Выпив по два граненых стакана «Алазанской долины», перешли они на «ты».

— Плавала она, далеко заплывала, стала тонуть. Сибирские реки людей под хмельком в искушение вводят: переплыть! И тонут, само собой, одна из известных сибирских смертей. Она-то трезвая была. Я ее вытащил, долго откачивал, думал — не задышит. Задышала. С тех пор дышим вместе. Два года замуж звал, не соглашалась. Потом уговорил.

Хозяин, ходивший по дому в не единожды латаных остроносых некогда щегольских валенках (их давно по всей стране заменили тупоносые, серийные, неуклюжие), напоминал скульптуру из дерева, вырезанную единственным бывшим под рукой не приспособленным для валяния инструментом, из-за чего скульптура вышла не гладкая, как, например, у Эрзи, а со сколами, угловатая, точно щепка либо полено. Множество морщин и морщинок на лице, уже не от ваятеля, сеточки, ефрейторские складки и про-

чее, достижение резко континентальной природы: на палящем солнце, в том числе зимнем, человек щурится, а в метель, залепляющую взор, жмурится, и следы сих действий помалу лепят на свой лад маску, то есть, конечно, лицо — или лик.

— Месяц назад, — шептал гостю хозяин, — в кино пошли на «Серенаду Солнечной долины»...

— О! — вскричал кузен. — Так она молоденькая очень была похожа на фигуристку из фильма! Прямо вылитая!

— Она мне сказала. На завтра я ей говорю: давай еще сходим, посмотрю на тебя. Не пойду, говорит. Я потом от нее тайком один сходил. У нас мастер есть, фотограф, афиши делает с кинокадрами, кинокадры по дешевке желающим продает, за ним вечно девчонки бегают, просят карточку с герцогом-Медведевым, например, из «Двенадцатой ночи». Я ей намекнул: давай тебе из «Серенады» фото той актрисы, Сони Хени, подарю, в рамочке на стену повесим. Она на меня рассердилась. Знаешь, я себе такую фотку купил, теперь от нее в пачке журналов прячу.

Эрика вернулась на кухню порозовевшая, стаканчик свой допила.

— Родители живы?

— Отца не стало. Матушка твоя здоровует.

— Никому не говори, что видел меня.

— Никому не скажу. А вот матушке твоей шепну по секрету, не обессудь. Она немка, не проболтается.

— Возьми для нее баночку мелких огурчиков, хорошая у Эрики засолка, то ли корнишоны, то ли пикули.

— Стеклянная? Не довезу.

— Довезешь, в кружку большую эмалированную запакуем.

Проводили кузена Петрика, а как хвост поезда за поворотом исчез, Эрика заплакала.

— Ничего, ничего, — сказал муж, подхватив ее под руку. — Пошли быстрее, дело к метели. Славный тебя родственничек навестил.

И пока Эрика не спала до пяти утра, чтобы дожидаться единственно нужного ей сна, кузен ее, спящий сном праведника на боковой узкой полке трансибирского общего вагона, в отличие от меридианных поездов на юг и с юга на север, передвигался по параллелям на сей раз с востока на запад, и ничего не снилось ему под уютный ублаживающий стук колес в мотающейся колыске. Вагон был старый, под днищем его прикреплены были грузовые *собачьи ящики*, в которых не одно десятилетие путешествовали беглые детдомовцы, беспризорная мелочь, в поисках теплых хлебных городов. Может, именно в этом средстве передвижения ездил беспризорным мальчонкой будущий поэт Вадим Барашков, некогда произнесший в кругу собратьев по перу: «Я видел Россию из собачьих ящиков». Вадим вырос, выучился, стал геодезистом, измеряющим пространства. Россия из собачьего ящика выглядела необычно, вливалась в глазное дно из продувной горизонтальной щели, низкий горизонт, подобная травяному лесу спутанная трава обочин, полная цветов, буйная, безграничная, товарняк, сменяющий пассажирские, посыпал железнодорожное полотно серой, каменным углем, опилками, апатитом, от таких удобрений и иван-чай, и клевер, и ромашка, пижма, поповник, дымянки, льнянка, молочай, чертополох, бодяк — все луговое разноцветье процветало отчаянно, застило распластанный простор; в щели собачьего ящика заглядывал, пролетая, избегающий по насыпи к шпалам многоцветной своей опушкой ров некошеный, и аэродинамические игры путей сообщения наклоняли травы.

Она не спала до пяти утра, притворялась спящей, тихо лежала, тихо, как мышь. И муж не спал, притворялся спящим. Дважды вставала она, доставала из шкатулки газетку, смотрела на кухне, тапок не надевая, бесшумно ступая в шерстяных носках. Но в третьем часу посетило ее особенное состояние бессонницы, когда вспоминаются слег-

ка измененные эпизоды житейские, и то ли сняты в клочках кратких сновидений, то ли, затверженные, воспроизводятся неточно зыбкой таинственной памятью.

Вспоминался лагерь, о котором не то что старалась не вспоминать, а словно вычеркнуто, стерто, но вдруг возникло так действительно и внезапно. Первое время, длившееся достаточно долго, ее били, били скопом, не то что *темную* устраивали, вполне на свету, но и к вечеру, и ночью, ей шептали, выдыхали в лицо (чтобы не привлечь внимание надзирательницы): ты, немецкая подстилка, предательница, гансова трахнутая маруха и так далее. Особенно вспышки патриотизма и ненависти охватывали уголовниц. Она молчала, немка и есть немка, отбивалась, но не так и отбивалась, да ей и не давали, желающих отметить ее было много, она была одна, это еще больше раздражало бьющих.

Но однажды появившаяся новенькая хриплоголая блатарка стала к ней приставать: чего это ты, тварь, меньшеешься? с немцами сношалась, а со мной не хочешь? И внезапно Эрика стала с ней драться, яростно, отчаянно, опешившая любительница молоденьких однополых почувствовала, что руки у пишбарышни сильные и цепкие, без этого целыми днями по клавишам стучать никак нельзя. Но немка еще и заговорила, да как! благодаря хорошей памяти выложила весь запас словарный, почерпнутый за годы отсидки. «Ты, люковка вонючая, — кричала она, — закрой визжиху, да я в жизни ни с одним немцем не трахалась, лярва двусбруйная, только сунься ко мне, я тебя ночью во сне зарежу!»

Их растащили, надзирательница повела Эрику в карцер.

— Что это ты, Райнер, — а Эрика осуждена была и зэчкой пребывала под девичьей немецкой фамилией, как значилась в немецком списке работников комендатуры, — пургу гонишь? Что это за «зарежу»? У тебя и ножа-то нет.

Глаз у Эрики заплывал, отирая кровь из носа, она отвечала:

— Меня уголовники любят, они мне нож сделают.

С мужским лагерем пересекались на лесосеке и в праздничные дни тюремных самодеятельных спектаклей.

После карцера ее разглядывали, словно не видали раньше. Синяк в пол-лица был уже не черно-синий, а голубоватый, фиолетовый, с зеленцой, с желтизной.

— Как это — ни с одним немцем не трахалась? Ты разве не немецкая подстилка бордельная? Что ж ты раньше молчала, немка шарнутая? За что ж ты сидишь-то?

— Велико дело — с мужиками спать, хоть и с фашистскими, — отвечала она, — может, баба на передок слаба. А я в ихней комендатуре на машинке печатала, все их поганные расстрельные приказы через мои руки прошли. Так что вы тут все невинные сидите, а я виноватая. Отзыньтесь от меня, отвалите, оттрахайтесь.

И тут она мгновенно заснула, как засыпают кошки, только что вспомнившееся давным-давно обретенное и утерянное свойство дней любви, казалось бы, забытое навсегда.

Нары были те же, и все вокруг то же, но впервые со дня ареста приснился ей сон.

Сон был о Лемане. Зелен был сад, полон южных деревьев, шелковиц, черешен. Солнечные круглые блики на желто-розовых, алых и вишневых черешнях ждали южной лунной ночи, чтобы превратиться в тоненькие мусульманские, слабо мерцающие полумесяцы-серпики. За зеленью сада просвечивал маленький светлый каменный дом, и соседние желтые да белые невеликие дома тонули в садовой зелени, а за ними еще и еще, весь зеленый провинциальный город Винница, чьи улицы обрамляли каштаны и акации, Вьно, дар Подолья.

Леман вытаскивал эфу, то ли левую, то ли правую, смотря откуда смотреть на скрипку. Обычно, думала Эрика, смотрят спереди, но если скрипку перевернуть и посмотреть на ее спинку, где была родинка на скрипке Тибо, там же, где у меня под лопаткой, ока-

жется, что правая эфа постоянно становится левой. В саду играли дети. Она помнила, что у Лемана одиннадцать детей, но поскольку двое от первого брака остались с первой его женою, а одного из младенцев постигла смерть в колыбели, здесь их должно было быть восемь. Дети все время двигались, неспешно, но непрерывно, как в калейдоскопе, вот один встал на колено, другой побежал с сачком за стрекозою, третий полез на дерево, Анатолий, Марк, Артемий, Варвар, Матвей, Олег, Агриппина, Лидия; она никак не могла их сосчитать. Она видела, что дети перекликаются, говорят, кричат, но звук голосов их был по законам сна отключен.

Слышен был только голос Лемана.

— Жена мечтала, что мы уедем в Америку, побывав там, Америкой очаровалась, но я отказался. Моя мечта — создать русские скрипки, зачем мне Америка. Но следуя неуловимому закону задуманного намечтанного передвижения, мы уехали из Санкт-Петербурга и очутились в Виннице. Так жюль-верновский мечтатель, собравшийся на Луну, очутился бы в Миргороде. Думаю, мы уедем и отсюда через некоторое время. В провинциальном городе царит рутина, уныние, тем более ощутимые тут, в Подолье, где воевали со времен татаро-монгольского ига. Вечно при оружии гуляют здесь по берегам Южного Буга призраки-князья: Ольгерд, Ягайло. Замок последнего в начале пятнадцатого века спалили крымские татары. Кто только на этом клочке земли не воевал. Поляки, литовцы, крымские татары, пришельцы из-за Дикого поля, казацкое войско, запорожцы, гайдамаки. Бушевали крестьянские восстания, два года косила жителей чума. От всего этого провинциальные жители задерживают оконца крахмальными занавесками, что не мешает в полнолуние и новолуние разгуливать под окнами духам, а в осенние воробьиные ночи проноситься по окраинным улицам дикой охоте короля Стаха. Что вы так смотрите? Я чую духов и даже общаюсь с ними. А что до войн... я должен был стать военным и отдал долгие годы изучению ненужного и чуждого мне военного ремесла. У нас, например, существовал курс обучения пыткам.

В эту минуту по саду проехала хорошенькая черненькая велосипедистка, жена Лемана; дети помчались за нею, точно ленты веревочного хвоста за бумажным змеем, тут включились их звонкие голоса, и слышны были, пока не скрылась процессия за углом дома.

— Думаю, года два я продержусь, — сказал Леман, разглядывая работу свою, — а потом мы благополучно вернемся в Санкт-Петербург или в какой-нибудь его пригород потуманнее, ну, хоть в Стрельну.

— Почему именно в Стрельну? — осведомилась она.

Леман рассмеялся.

— Там хорошо.

Открыв глаза на этом его «хорошо», Эрика услышала привычное дыхание и храп зэчек; соседка слева, как всегда, разговаривала во сне, впрочем, после того, как ее избили, чтобы отдыхать не мешала, стала разговаривать она тихо, совсем тихо, почти шептать. Уставший притворяться спящим муж уснул самым обычным образом, за ним и ее одолела дремота, через которую, стремительно проваливаясь, низринулась она в полный народа и света концертный зал.

Впрочем, преддверием зала, сцены, концерта служила невеликая комнатка за сценою: ждали начала. Шептались оркестранты, как лепетавшая во сне зэчка, Эрика переходила от одних шепчущихся к другим, краем уха слушая обрывки разговоров.

— Я слышал, — шепотом, под сурдинку, — что Леман написал антисемитскую статью про Ауэра.

— Антисемитскую? Не знаю, не читал. Хотя Ауэр сам по себе был человек неприятный, интриган, не без высокомерия, считал себя великим скрипачом, хотя на деле был весьма средним...

— Все равно нехорошо. Нельзя было в начале двадцатого века баловаться антисемитской статьей.

— Особенно немцу...

— Особенно такому медиуму и гипнотизеру, как Леман. Страшная сила в слове заключена, почти колдовство...

Она отошла, тут зашелестели во втором углу:

— Говорят, у одного из наших скрипачей лемановская скрипка...

В оркестре, проходя между музыкантами, увидела она улыбнувшегося ей Тибо; она прошла на свое место, придерживая юбку нарядного концертного платья, и села справа от дирижера за маленький столик с пишущей машинкой.

Объявляющий номера элегантный человек проследовал на авансцену, она отвлеклась, глядя на Тибо, прослушала имя композитора, услышала только название опуса: «Концерт для пишущей машинки с оркестром». Ей не случилось видеть филармонический зал со сцены, его наклонность, приподнятую последнюю треть рядов. На самом деле для зала этого характерны были несколько горизонтов с несколькими точками схода прямой перспективы (обратную видел только дирижер на ближайших пюпитрах и рояле): для оркестра на возвышении, для партера, для бенуара боковых галерей и для хоров. Все были тут: громоздкие контрабасисты да виолончелисты со своими бандурами (а сколько пространства съедали их снующие туда-сюда локти, выдвигающиеся смычки!), команда скрипок (о струнных говаривал Карл Орф, что они от ангельских голосов), ударники, литавристы, перкуссионисты (а ударные, продолжал Карл, от не к ночи будь помянутого), не было на сей раз только рояля, который и то, и то, и Богу свечка, и черту кочерга; духовые, заставляющие исполнителей своих надувать щеки, краснеть, складывать губы в немыслимую воздуходувку, все эти валторны, гобои, флейты, английские рожки, собирающие слюни, заставляющие *выдуть легкие в трубу*, и укравшая у Карла кларнет Клара; наличествовали игроки за сценой, подающие голоса то слева, то справа, среди них главенствовал самоновейший оператор звукозаписи, который мог в соответствии с фантазиями постпостмодернистов запустить в уши околдованному залу голоса птиц в природе, хор цикад, стоны, вопли, выстрелы, взрывы, лязги великих строек и прочие мучительства. Кроме хора цикад мог звучать и натуральный хор, выкрикивающий, что требуется, или возопивший в должный момент... ну, и так далее. Вам не кажутся однокоренными слова «орать» и «оратория»?

И все эти звуки, от мелодических до атональных и античеловеческих, заполняли времяпространство зала и сцены, отражались от туловищ, локтей, голов, складок одежд, арок, закрытых окон, притворенных дверей, от всякой пыточной акустической воздушной ямы, от пустот и испарушин времени и бытия; о, музыка! как претерпеть тебя? как воссоздать, подымая в воздушные океаны с плоских листов нотной бумаги? как устоять пред тобою?

И среди прочих — солистка, она, Эрика, машинистка, пишбарышня, со своей тезкой, пишущей машинкой «Эрикой». Какую роль сыграли пишбарышни всех широт в первой половине двадцатого века? Какие приказы, реляции, доклады, приговоры, документы, постановления отстучали кириллицей и латиницей их женские ручки, посылавшие войска в котлы военных действий, людей на расстрел и в концлагерь... и так далее и тому подобное. Впрочем, стоящая на столике среди оркестрантов машинка именновалась уже не печатным устройством, а *шумовой перкуссией*.

Это была личная машинка Эрики, в довоенные времена выпущенная известной фирмой Seidel & Naumann, названная по имени внучки основателя фабрики, легкая, надежная, с мягким ходом клавиш, на которой анонимный русский умелец заменил немецкий шрифт на русский. В комендатуре стояла ее близнецная двойняшка с немецким алфавитом.

Кнопочки с буквами, цифрами, знаками препинания именовались клавишами; абсолютно немусыкален был их железный звук, одинаковый для всех букв; иным оттенком голоса обладала клавиша интервала, вносил разнообразие небесшумный вылет в сторону отработавший длину строки каретки, ее художественный звоночек: «баста!». Относившаяся к табулятору клавиша помечена была ведьмовским словечком ТАБУЛ.

Солистка должна была отстучать ритм, в точках акцентов отогнать вручную каретку, отзвенеть звоночком ее; на столике возле машинки стоял микрофон; все музыкально-канцелярско-перкуссионные действия «Эрики» подхватывал оркестр, в первую очередь — ударные, перкуссионные коллеги, их экзотический набор: бочковидные, цилиндрические, ручные барабаны, литавры, тамтамы, деревянные коробочки, кастаньеты, гlockenшпиль, тарелки, погремушки, скребки (гуиро и реко-реко), колокольчики и палисандровый крошка ксилофон.

Не стоит забывать, что, кроме музыкантов, пребывали в оркестре алхимические наборы металлов, души и тела дриад, некогда населявших деревья, превращенные в скрипки, контрабасы, альты, виолончели, вдобавок кони-звери, из их конского волоса сработаны были смычки, вспомним быков, чьи шкуры натянули на барабаны, баранов, из чьих кишок делали в старину струны, инструментальные черепашьи детали, — и все представленные вышеупомянутыми множествами мира испытывали шаманством своим зрителей и оркестрантов, о, ветер степной конских грив! о, стада! тропы, дао, роши, леса!

Самой короткой и легкой была первая часть, полька; Эрика отбарабанила свою партию не без удовольствия, вот разве что возникающие время от времени взвизгивания и всплески трещоток несколько смущали ее.

А потом, после паузы, принялись за вторую часть: настало танго.

Самая расхожая версия такова: танго возникло в годы оживления торгового флота в припортовых борделях; бордели были не резиновые, возникала очередь, чем-то следовало занять клиентов, чтобы, в режиме ожидания пребывая, не растеклись по окрестным пивным, а поскольку, все флаги в гости будут к нам, царило разноязычье вавилонского столпотворения, о чем говорить и на каком наречии? и стали танцевать. Не одно десятилетие бордели Буэнос-Айреса и прочих славных портов пытались оспорить пальму первенства по части изобретения танго, патентную чистоту соблюсти. То был танец секс-символ, эликсир отсроченных ожиданий любовных утех, но и не только. Хотелось красоты, красотищи, кружевного белья, музыки, чего-то эдакого *для души*. Утомленное солнце нежно с морем прощалось, шла к веселым девицам компания-кумпарсита; а брызги шампанского? скажите, почему?!

Но даже и с танго к середине двадцатого века стало твориться нечто неладное. За сценой невидимый звукооператор включал то хор цикад, то жужжание осиною роя, а под занавес влил всем в уши звук то ли пикирующего, то ли падающего бомбардировщика, однако вместо взрыва незримого самолета падение (снижение?) завершилось всплеском клавиш пишущей машинки.

Третья часть маршем своим измотала и оркестр, и солистку, и слушателей вконец. В военные или похоронные ритмы марша вплетались выстрелы, автоматные очереди, вопли хора за сценою. Мало-помалу одна группа инструментов за другой замолкала, каждый из оркестрантов накидывал на плечо белый платок; наконец осталась одна Эрика, отстучав и отзвенев партию свою, перевернувшая белой изнанкой висающий на шее цветной шарф.

И наступила тишина.

В тишине услышала она, как перешептывались у нее за спиною два музыканта:

— Завтра иду халтурить, по счастью, Штрауса будем играть.

— А я завтра — в ресторацию, на свадьбу, маленький оркестрик, сбродный молебен, пришли лабухи, взлабнули.

Зал аплодировал, дирижер вывел ее на авансцену, она кланялась, постукивали смычками по струнам скрипачи, в том числе и ее скрипач. Возможно, в зале мелькнула голова Лемана, иссиня-черная редкая масть волос, делающая лицо бледнее, но тут по левой ковровой дорожке пошел к сцене молодой среднего роста человек с букетом роз, и она узнала в нем (по фотографии из малой газетки, привезенной двоюродным братом) своего сына, и Тибо его узнал, ведь во сне все возможно, причинно-следственная связь то царит властно и всепобеждающе, то отсутствует вовсе, как на самой загадочной северной широте земного шара. Она уколола палец об один из шипов букета и пробудилась, вскрикнув.

— Что? — спросил муж.

С недоумением рассматривала она капельку крови на безымянном пальце.

— Вот... укололась о розу во сне...

— Возьми на кухне на полке пластырь, — сказал он (подумав: опять штопала на кровати, воткнула иголку, забыла).

Брякнул на кухне спичечный коробок, снова тихо.

Вернулась не скоро, бесшумно, вытерла слезы.

— Что ты так долго?

— У окна стояла. Курила. Сын приснился. Снег пошел.

Он взял у нее из рук спички и недокурную «беломорину».

— Ну, все, все. Спи. Сон приснился. Сын приснился. Снег пошел и сказал: «Бросай курить, вставай на лыжи».

В день прибытия в Ленинград несколько утомленного трансибирским турне неунывающего кузена на углу Невского и Гоголя случайно столкнулся первый муж Эрики с Валентиной.

— Я ухожу от Ольги.

— Как? Зачем?

— Валя, я встретил другую женщину.

— Кто она?

— Красавица. Муж ее тяжело болен, она собирается с ним развестись.

— Ты хотел унизить Ольгу?

— Что ты такое говоришь? Я просто влюбился.

Валентина улыбнулась.

— Помнишь, что ты спросил, узнав о романе Эрики? «Она хотела меня унижить?» Я ответила: «Она просто влюбилась». А что сын?

— Остается с Ольгой.

Подождал его автобус, шестерка, закрыл двери, двинулся от остановки. Валентина перекрестила отъезжающего в автобусной толкучке друга юности, а заодно и автобус, и всех его пассажиров. Проходя к своей парадной, она, как всегда, миновала заповедный магазин учебных пособий, куда хаживал, как в музей, ее десятилетний сын, идя в капеллу и из капеллы. Магазин напоминал келью алхимика или приют естествоиспытателя: глобусы, компасы, песочные часы, гербарии, коллекции бабочек и минералов, заспиртованные жабы, змеи, рыбы, потаенный гомункул, задумчивый скелет в углу, рядом с ним запасной череп.

Из армии наш будущий Могаевский пришел в другую квартиру в доме иного района, где ждала его мама Оля. Уход отца к другой женщине дался ему тяжело. Но отец был главный человек в жизни, врач-божество, обсуждать и осуждать его не приходилось. Он стал бывать — через некоторое время — в новой семье отца, познакомился с его новой женою, красавицей, вежливой, воспитанной, любительницей искусства, на стенах квартиры отца теперь висели старинные картины в золоченых барочных рамах,

обитала антикварная мебель красного дерева. Однако как не чувствовал он в улыбающейся красивой мачехе тепла и доброты Ольги, так не чувствовал и домашнего уюта в идеально прибранных приходящей домработницей новых комнатах. Во время его визитов долгих чаепитий и разговоров по душам не получалось. Хотя он заметил, что отец стал чаще улыбаться и словно прибавилось в нем некоей житейской уверенности в себе. Видимо, он очень влюблен был, потому что сопровождал новую жену (нечасто, но раз или два в сезон) в не любимую им филармонию. Прежде он ходил только в оперетку и в цирк.

Но у нашего героя уже складывалась своя жизнь: девушка, с которой ходил он не один год в туристские походы, стала сперва его невестой, потом женою. Он работал в известном НИИ, специализировался на гироскопах, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, принимал участие в научных конференциях, где свела его судьба с известными учеными: академиками Раушенбахом и Ишлинским, с Фармаковским, Колобовым. В своем НИИ стал он бессменным секретарем комитета комсомола, старательный, один из лучших специалистов, человек правильный, ровный, умеющий ладить с людьми. В конце шестидесятых годов его пригласили работать в Киев, куда и переехал он с женою и маленьким первенцем. К концу семидесятых он уже профессор, отец двоих детей, по предложению членкора местного отделения Академии наук приглашенный возглавить кафедру одного из крупнейших политехнических вузов страны. Он часто ездил в командировки, посещая вузы и НИИ, с которыми сотрудничает. Заносит его судьба и в Подолье, где, закончив деловую часть поездки раньше и удачнее, чем ожидалось, высвобожденное стараниями, рвением служебным и помощью судьбы время дарит ему солнечный день для отдыха и прогулок по утопающей в зелени Виннице.

И попалось ему находящееся на первом этаже аккуратненького трехэтажного столетней давности дома некое заведение с вывеской: «О. Шельменко. Крамница старовини „Бандура“». Он попытался открыть дверь, дверь не поддавалась. Проходящего мимо пятидесятилетнего дородного человека спросил он, не ресторан ли перед ним? Тот отвечал — нет, что написано, то и есть, лавка древностей, только хозяина фамилия Шельман, Шельменко его псевдоним, взятый этим достойным гражданином из патристических соображений; да что же вы за ручку-то дергаете? Вон лента желто-голубая атласная от колокольчика, звоните, хозяин к вам выйдет, вас впустит.

Вышедший на звонок был человеком не первой молодости, роста невысокого, отчасти лишку округл; лицо его напоминало не вполне удавшийся *словесный портрет*, словно полоса с глазами (почему-то вместо очков носил он пенсне) была от одного лица, середина с носом — от другого, а низ с двумя подбородками и небольшим ярким ртом, напоминавшим слизня, — от третьего; у него были длинные, свисающие с лица тощие усы, волосы длиннее, чем принято было носить в то время. Привыкшего к дресс-кодам чиновников, наученных мужей с конференций, студентов и туристов, никогда не посещавшего божественной среды Могаевского удивило одеяние его: длинная жилетка с аппликациями цветов, глаз и листьев, черные тренировочные штаны, заправленные в полушапожки на каблуках; можно было ожидать, что под жилеткой окажется косоворотка с вышивкой, однако хозяин крамницы предпочел новомодный черный бадлон с вишащей на груди на цепочке монеткой неопределенного века неведомого государства.

— Могу ли я посетить ваше заведение?

— Разумеется. Хотите что-нибудь приобрести или любопытствуете? Ведь вы не местный?

— Я в командировке, — отвечал командировочный, — гуляю по Виннице. Если честно, я решил, что вы держите ресторан, а потом решил посмотреть, чем торгуют на юге в антикварной лавке.

— А вы с севера?

— Я давно уже переехал в один из ближайших городов, куда изначально прибыл из Ленинграда.

— В Ленинграде прекрасные антикварные отделы в комиссионках. А до войны были еще краше.

В антикварной лавке почувствовал он легкое головокружение и боль в виске, как часто чувствовал не только в музеях, но и в обычных магазинах: вид всяких множеств так действовал на него.

В центре экспозиции и впрямь стояла бандура, а слева и справа от нее — граммофоны столетней давности с волнистыми растрабами; поставив пластинку, накрутив ручку, Шельменко запустил старую угольно-черную тяжелую пластинку с радужной круглой картинкой в центре, и знаменитый, некогда узнаваемый юными прабабушками голос завел свою, знамо дело, песню: «Взяв бы я бандуру...»

Веера открыток на стене являли взору красавцев бандуристов, окруженных красотками Одарками, Оксанами, Ганнусеньками, некоторые представляли собою фотографии доисторических постановок оперы «Майская ночь». Несколько портретов дивчин висели чуть выше, картины маслом, заветные головные уборы с атласными лентами, цветами, девицы понадевали мониста, коралловые низки, улыбались, хохотали, кокетничали.

В углу, словно в филиале музея этнографии, висела зыбка, стояла прялка, ткацкий станочек красовался, на полках теснились глечики, кувшины, горшки, туеса. Далее на допотопной вешалке, словно в театральной костюмерной, висели одежды, женские яркие, запорожских казаков с невиданной ширины штанами, вышитые косоворотки невиданной красоты, наш наикраший, рушники; а сафьяновые сапожки с подковками! И так далее от наборов кисетов с трубками, фарфора былых усадеб, усадебной мебели, детских лялек. Между восточными окнами разместились сабли разной степени кривизны, нагайки и плетки. В простенках западных окон висели три застекленных неглубоких шкафчика, справа фарфоровые фигурки, слева расписные изумрудного стекла штофчики, посередине скрипка.

Скрипка притягивала его точно магнитом.

— Какая волшебная скрипка!

Шельменко подошел, улыбаясь, отпер мизерным ключиком шкафчик.

— Вы хотите ее купить? Играете? Коллекционируете скрипки? Она не продается. Видите ли, на некоторые предметы специально назначена такая цена, что их и купить-то никто не может, это моя маленькая хитрость. Скрипка вправду дорогая, редкая, ей сто лет, ее сделал известный скрипичный мастер Леман, когда жил у нас в Виннице с семьей, стало быть, это местная музейная достопримечательность, что подтверждает наклейка внутри ее футляра, который и сам-то красив и необычен.

— Леман оставил скрипку в Виннице? Кому-то продал?

— Нет, скрипка трофейная, досталась мне от невольного перекупщика, не знавшего ее истинной цены, а ему — от убитого гитлеровского офицера, когда немцев отсюда гнали.

— Разрешите мне ее подержать?

— Почему нет?

Взяв скрипку, он внезапно почувствовал живое тепло, словно взял на руки младенца.

— Надо же, у нее на тыльной стороне, на спинке, пятнышко, родинка, как у моей матушки под лопаткой.

Впервые после клятвы, после честного слова, данного в детстве отцу, вспомнил он о матери и вслух заговорил о ней, да еще перед чужим человеком.

— Я не хочу вас торопить, — сказал хозяин крамницы, — но я с минуты на минуту жду гостью, которой хочу оказать достойный ее прием с угощением, мне надо подго-

товиться. К тому же в отличие от всех женщин, обожающих опаздывать, она любит приходить раньше времени. Между нами, это дама моего сердца, мадам Березюк.

— Скажите, а откуда эта монетка, талисман, что вы носите на груди? — неожиданно для себя неизвестно для чего спросил Могаевский.

— Из Трапезунда, — отвечал Шельменко, вглядываясь в посетителя. — А ведь это *ее* подарок... Раз вы это угадали, походите еще по комнатам, пока я сервирую стол и она еще не пришла.

Произнося это, он успел выкатить из-за кулис, видимо из скрывающейся там кухни, толстый столик на колесиках, с торцов которого выдвинул подобные крыльям боковины, подперев их выдвигающимися доселе невидимыми под столешницею ножками, подобно таковым в классических ломберных столиках картежников.

Молниеносно застелил он столик вышитыми рушниками и забегал туда-сюда, вынося блюда, тарелки, сотейники, соусницы, мисочки и протчая, наполненные разнообразной снедью, словно расстилая на глазах изумленного Могаевского скатерть-самобранку. Казалось, сошлись на ней все фри, рапе и шуази мира, соленья, маринады, сушеные иссохшиеся сметки соседствовали с мочеными яблоками, сельдь под шубою с классической фаршированной щукою, пампушки с галушками, варениками, клецками, домашними пельменями, салатами с вычурными именами; довершало картину изысканное блюдо болгарской кухни — яйца с мозгами, именовавшееся «Философ». Овечий сыр сулугуни, кровяная конская колбаса скромно покоились на лазоревых блюдечках своих, оттеняя кузнецовскую селедочницу, наполненную светящимся салом. То там, то сям взмывали над горизонтальными вместилищами вертикальные фонтанчики зелени: укропа, кинзы, петрушки, сельдерея, розмарина.

Наконец внес хозяин в серебряном ведреке со льдом шампанское «Асти», окружил ведроцо французским коньяком «Наполеон», домашней наливкою «Самженэ», шкаликом водки «Moskova» и ликером рубинового оттенка. После чего придвинул к середине самобранного стола низкое широкое кресло (потому что, как пояснил он пораженному зрителю, мадам Березюк отличалась роскошными формами в сочетании с маленьким росточком) и отошел, дабы оглядеть результат стараний своих со стороны.

Тут же вскрикнув: «Ах, ах!», выбежал он в некую комнату за кухню, вернулся с книгою в руках, поставил оную перед тарелками, вилками, бокалами, стопками, рюмашками, ожидавшими ожидающуюся гостью, и успокоился наконец.

Поймав недоуменный взгляд посетителя, тотчас разъяснил, что любимый писатель мадам Березюк — некто Винниченко, потому он, Шельменко, собственноручно переплел роман вышеупомянутого письменника «Соняшна машина» в сафьяновый переплет, украсив его мелкими драгоценными камнями.

— Это сюрприз, — пояснил он, довольный собою.

Тотчас зазвонил колокольчик, и вошла *она*.

Все было неопишимо в мадам Березюк, да, верно, к последней трети двадцатого столетия вовсе перевелись в мире стилисты, способные ее описать. Даже попытки прильнуть к цитатам, оглянуться на классиков ни к чему привести бы не смогли. Ее нельзя было назвать приятной во всех отношениях, поскольку понятие «приятная» не подходило к ней вовсе: носик, что называется, малость крючковат, нижняя губка торчала впереди верхней, особенно сей торчок становился заметнее от применения помады не просто яркой, а пылающее-алой, иссиня-темной или откровенно фиолетовой. Любимых ее сортов помады было три; зато любимых ее обожателем подбородков под насажденным маленьким ротиком было не то что три, а несколько более. Бровки красавица то выщипывала, то сбрасывала, рисуя себе, в зависимости от настроения, то тонюсенькие в ниточку, то широкие угольные, почти союзные.

Что до взгляда ее... Полагалось бы, может быть, сказать «очи», но реальность «очам» не соответствовала, то были именно *глазки*, то бирюзовые, то цвета голубиноного крыла, обрамленные длиннющими пушистыми ресницами, отягощенными франко-турецкой макияжной тушью.

Формы ее, как бы это выразиться поточнее, были сильно преувеличены при маленьком росте; но мужской взгляд, скользя по невероятным их округлостям... ну, и так далее. Из-под удлинённых юбок ее многоцветных многослойных одеяний выглядывали — в соответствии с формулировкой старого анекдота *музыкальные* (как ножки рояля) ножки в неожиданно миниатюрных, как у девочки либо профессиональной гейши, туфельках. Полные пальцы ее небольших ручек всегда были отчасти «пальцы веером» и не смыкались не только из-за розовой избыточности, но и от колец, которые носила мадам Березюк на каждом пальчике по несколько штук. Бусы, мониста и ожерелья в пять рядов, коралловые, жемчужные, лазуритовые, любимой бирюзы, ухитрялись-таки охватить шею ея.

Осталось только, оторвав взор от вышеупомянутого роскошества, рассмотреть шляпку с округлой тульей (подобно каске, охватывающей головку чаровницы от лба до затылка) из мелкой черной соломки. Там, где у обычной женщины на шляпке находится *поля*, у дамы сердца Шельменки шел по кругу целый лужок, намеком на венок мало-российского головного убора служили множественные мелкие цветочки, оранжевые, желтые, беленькие, голубенькие, точечные алые. А там, где на затылке завершалась соломенная тулья, трепетали узенькие разноцветные атласные ленточки, развевавшиеся на малейшем зефире, но и не только: просто при ходьбе. О ямочках на ручках, локотках, щечках, об атласной коже... но оставим это. На руке дамы, на локотке, висела плетеная корзинка, наполненная предметами, которые поначалу зачарованный и отвлеченный вошедшей наш посетитель не смог рассмотреть.

Уже усажена была она в предназначенное ей кресло, уже отвсплескивала ручками (звенели кольца о кольца), увидев сюрприз, отприжимала к бюсту роман «Соняшна машина», уже засобирався задержавшийся наш герой уходить; а она все не могла остановить свой выбор ни на одном из многочисленных угощений.

Наконец, подцепила она одной из вилок возле лазоревой своей тарелочки маленький золотисто-коричневый предмет и, указуя на него предназначенным для того пальчиком с кораллами и брильянтами, произнесла невероятно мелодическим с модуляциями птичьим голоском:

— Гриб!

И закатилась хохотом, да таким заразительным, что захохотали за ней и хозяин, и незваный гость и долго не могли остановиться.

Последний двинулся к двери, откланиваясь; тут она сказала ему тем же колдовским голоском:

— Не желаете ли яйцо?

— Спасибо, — отвечал он, — я не голоден.

— Нет, нет! — вскричал хозяин «Бандуры». — Речь о фарфоровом яйце или стеклянном.

Тут поднес он к глазам уходящего принесенную дамой плетеную корзиночку, заполненную фарфоровыми и стеклянными яйцами всех размеров и цветов.

— Порцелан, глянц! — пролепетала принесшая корзинку.

Он выбрал первое попавшееся, расплатился не торгуясь, раскланялся перед дамою, царственно кивнувшей ему с обворожительной улыбкою:

— До побачення!

Выходя, еще раз прочел он на двери «О. Шельменко» и спросил:

— А как ваше имя? Остап?

— Олександр, — с достоинством отвечал провожавший.

И закрыл наконец за гостем дверь, чтобы предаться без свидетелей любимому занятию — угощению наилепшей жинки в мире мадам Березюк.

На вокзал попал Могаевский много позже, чем рассчитывал, проводница, стоя у ступеней вагона, уже поторапливала пассажиров. Стал он доставать из портфеля билет, выкатилось из портфеля фарфоровое яйцо, разбилось на перроне, и в полном недоумении увидел он, что внутри яйца находился аккуратненький фарфоровый желток, расколовшийся на несколько частей. «Откуда внутри цельного рукодельного яйца мог взяться желток?!» — «Садитесь, пассажир, садитесь, отправляемся, жаль сувенирчика, поднимать не трудитесь, не склеить, без вас подметут».

Потом, много позже, когда настигла его непонятная хворь, затрудненная речь, выпадающие слова, повторы, то ли микроинсульт, то ли внезапно проявившаяся болезнь Альцгеймера, ничего особенного ни на КТ, ни на МРТ, впрочем, тогда многие болели не вполне понятными науке болезнями, отчаявшаяся жена вызвала психиатра.

— Он в первый день все повторял: «Яйцо разбилось. Как жаль... что яйцо разбилось...» Какое яйцо? Еще говорил: «Почему... внутри... желток? Откуда он там?»

Психиатр пожал плечами.

— Ничего ненормального в словах его не вижу. Про яйцо загадочную сказочку все знают, «Курочка Ряба» называется. Дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила. А когда наконец от хвостика пробежавшей мышки яичко разбивается — дед плачет, баба плачет. Прежде били, после плачут. Где логика? Тайна бытия, тест для психоаналитика. И, кстати, меня лично в детстве интересовало: откуда внутри яйца желток? кто и когда его туда засунул? В общем, лекарство я ему выпишу симптоматическое, через две недели звоните.

Через две недели состояние больного улучшилось, еще через две пришло в норму. Аномалии остались, речь стала чуть медленнее, чем раньше, и он, став Могаевским, начал писать роман. На это психиатр сказал почти успокоившейся жене пациента:

— А уж сколько людей ни с того ни с сего начинают заниматься литературой и считают себя писателями, не счесть.

Уже поправившись, вернувшись на работу, оказался он на симпозиуме в Виннице и решил отыскать заведение Шельменки. Улицу он нашел легко, но дома с крамницею «Бандура» не было, вместо него стоял премилый чистенький, сильно остекленный современный особнячок, из которого и в который вбегали и выбегали молоденькие цифровые бесчисленные чиновники и чиновницы, совершенно не напоминавшие офисный планктон, а скорее похожие на роящихся вокруг гнезда ос или диких пчел.

А между первым посещением Винницы, где в лавке увидел он прекрасную скрипку, и его болезнью случилось событие, изменившее многие человеческие судьбы, если не судьбу всего человечества: солнце пыталось взойти на западе, но не смогло.

Он проснулся, жены не было рядом, она ходила босиком по комнатам. В окне мерцал свет восхода, яркий, ало-оранжевый, без тени голубизны, рассвет.

— Пора вставать? Не опоздаю на работу? Солнце встало?

— Сейчас ночь. Это не солнце. Оно не встает на западе. Может, война началась? Ядерный удар?

— Включи радио.

— Я включила. Тихо.

— Ну, какая война. Я ответственное лицо, государственный человек, ректор, мне бы позвонили.

Они глядели в осиянное багрово-золотым светом небо.

— Что в той стороне?

И он ответил внезапно севшим, охрипшим голосом:

— Атомная станция.

Будучи «государственным человеком», принимавшим участие в открытых и закрытых обсуждениях и действиях после случившегося, он знал много больше, чем обычные люди; а всего, всей правды не знал никто, она ускользала в будущее, опережая настоящее на несколько столетий или на тридцать тысячелетий. Потому что для полного выздоровления человеческой популяции и земного шара от происшедшей катастрофы понадобится восемьсот лет; полураспад радиоактивного йода занимает несколько дней, цезия и стронция тридцать лет, плутония 249 — тридцать одну тысячу лет, обычный плутоний и америций пребудут с нами до 2060 года. Он помнил все эти цифры. По цезию выброс из разрушенного реактора был равен тремстам Хиросимам. Через три дня наблюдался повышенный радиофон: в Житомире — в двадцать раз, в Ровно — в десять раз, в Киеве — в три раза. На бэтээры ликвидаторов приваривали броню толщиной полметра, ее хватало на пятнадцать минут, радиация прошибала все.

Девятнадцать областей России пострадали от взрыва Чернобыльской АЭС, самые загрязненные — Брянская (хоть называй город старым названием Дебрянск...), Орловская, Курская, Калужская, Тульская, Ленинградская, Воронежская, Рязанская, Смоленская, Пензенская.

— И Ленинградская?

— Моя дальняя родственница на Карельском перешейке в постчернобыльское лето видела огромные лиловые и голубые грибы; лопухи соревновались там в размерах с листьями виктории регии, а бабочек не было вовсе.

Самое мощное облучение получили Южный Урал, Алтайский край, Новая Земля, отдельные районы Белоруссии (Овручи, Народичи, Лучины и иже с ними). Ветер отнес первый выброс из реактора на запад, вдоль железной дороги между селами Янов и Чистоголовка. Сосновый лес, погибший, приняв на себя облако радиоактивной пыли, называли Рыжим лесом, впоследствии был он захоронен. Облако, не зная таможен, прошло своим путем над Гомельской областью, Швецией и Финляндией, Польшей и Восточной Германией, досталось Китаю, Японии, США, Восточной Франции, Бельгии, Чехословакии, ФРГ, Нидерландам, Великобритании, Греции, Турции — ста сорока странам мира. В ликвидации участвовали все, от летчиков до шахтеров.

Долгое время стояли в глазах его лица погибших пожарных, погасивших страшное пламя, не пустивших в воды Припяти фантазмагорическую лаву расплавов всего и вся; фамилии их помнил он отдельно от лиц. И страшно ему было, что работой на четвертом блоке ЧАЭС руководил человек по фамилии Дятлов. Потому что фамилия туриста, ведшего по Уралу трагически и загадочно погибшую группу студентов (как мы уже знаем, будущий Могаевский из-за их гибели оставил туризм, боясь за невесту, и ее за собой за ручку увел), тоже была Дятлов. Даже характерами были похожи: говорили одно и то же об обоих: «При умении и знаниях отличается излишней самоуверенностью, не склонен слушать мнение других». Кричал оператору Дятлов: «Дави гада!» — думая, что, нажав на кнопку, можно было выключить реактор, а реактора уже не было, всего вокруг него не было тоже: провал, яма в преисподнюю.

Как заноза, все, касавшееся тогдашнего полыхающего ночью алым небом, сидело в памяти постоянно, ни забыть, ни вспоминать было *невмагатэ*. Видимо, не только ему; однажды встретился ему ученый муж, давший собакам своим имена единиц измерения поглощенных радиационных доз: Грэй, Рад, Зиверт, Бэр, Кюри.

На дорогах Припяти, на шоссе из города красовались плакаты: «На обочину не съезжать!» Один из ликвидаторов рассказал ему: когда ехала их смена на работу, попался навстречу автобус с отстоявшими вахту, и там, где обычно помечается номер маршрута, прочли они: «Подлежит ликвидации».

За пять лет после случившегося на ЧАЭС (продолжавшей работать!) произошли еще одиннадцать пожаров, малых, быстро потушенных. Всплыла давно засекреченная

и отгремевшая катастрофа 1957 года на номерном заводе под Челябинском, в городке, ныне именуемом Озерском, преданная огласке через тридцать пять лет, накрывшая своим облачком (ее реактор, запущенный в 1948-м, назван был «Аннушка») шестьдесят населенных пунктов Челябинской, Свердловской и Курганской областей; вспомнили и события 1980-го на Курской АЭС. Зону отчуждения называли (по примеру Полесской) *радиационно-экологическим заповедником*. Заповедник сей жил своей жизнью, и шли от него в освеженные, обработанные плутонием, цезием, америцием и стронцием человеческие память и забвение особые ночные сны.

Да и сам-то заповедник был сон наяву. Населяли его малые табуны лошадей-мустангов и стаи волкопсов. Куры его бывших сел сбивались в прайды, и ежели какая-нибудь лисичка-выродок, взросшая на одном из загадочных белых пятен зоны, по неведомой причине чистых, обойденных радиацией (подобно исполненному тишины центру урагана, *cor serpentis*), по старой атавистической памяти решала полакомится цыпленочком, куриный прайд, яростно красноглазый, преследовал ее пару километров, еле рыжей удавалось уйти, драпануть в нору белого пятна своего.

Тут шли покосы травы, грязной, как реактор четвертого блока; покосы сушили, собирали, сжигали в специальных печах, золу хоронили в могильниках. Но хаживали в заповедник сталкеры собирать невиданные урожаи белых атомных грибов и ядерных яблок, поживиться брошенным имуществом, хаживали, торговали, подторговывали гибелью.

Зажигали в южной ночи лампочки Ильича вахтовый поселок Зеленый Мыс и бывший пионерлагерь «Сказочный», в коих пребывал персонал, обслуживающий три — работающих! — оставшихся блока ЧАЭС.

Узнав, что Могаевский принимает участие (совместно с иностранными, в том числе военными, специалистами) в проекте по очистке водоемов от радиации, сказал ему с улыбкою коллега из Сибири: «Знаю, что работаете вы по методике Тимофеева-Ресовского, выводят особые бактерии, пожирающие элементы радиационного толка, выпускаются в водоемы. Но ведь методика сия возникла в годы малых аварий, а у нас другие настали времена, в которые большая часть людей вышеупомянутыми элементами напичкана. Не боитесь вы, что, спущенные с цепи дрессированные бактерии станут поглощать людей, особенно собравшихся в толпу, в компанию, в массу?» Ответил он, тоже улыбаясь, мол, по всему видно, что уважаемый собеседник его — любитель фантастики, читает ее регулярно, особенно братьев Стругацких.

Однако это «другие настали времена» чувствовал и он. Изменились носители информации и потребители ее, иные болезни с диагнозами без названия, правда другая, другая ложь. Подобные цунами, перекачивались волны безумия по широтам и долготам, сквозняки поветрий, люди, собравшиеся в толпы, подобные куриным прайдам, бегали по улицам, протестуя против бытия, даже оцифрованные по новой моде сплетники отдавали дань всеобщему воцарившемуся в мире театру абсурда. Да и сам он стал Могаевским.

Преследовали его, как многих, подобные сериалам, ранее не докучавшие ему сны, где реальность, абсурд и фантастика смешивались в неподобных алхимических пропорциях, сведших бы с ума даже таких спецов по сновидениям, как Артемидор Далдианский, Густав Миллер, Николай Щербина, Зигмунд Фрейд, Ариман Португалов и девица Ленорман.

Конечно, встречались и обычные детали народных сонников: собирать сырой осенью грибы по-прежнему означало *грибиться*, болеть, так же как купание в природных реках и водоемах, — еще незамечаемая, уже возникшая в теле точка жара призывала охладиться.

Девочка означала диво, мальчик — прибыль, перемена одежды и обуви не являлась памяткой бедности, была сообщением об ожидающихся переменах участи или обстоятельств. И покойники, незабытые мертвые, снились к перемене погоды. Оставались в силе и диагностические сновидения, о них он знал от отца: множества (от библиотек до музейных экспонатов и антикварных мелочей) говорили о височных спазмах, а повторяющиеся сны с нарушением масштаба, будь то великаны, карлики или высочайшие башни, сигнализировали о том, что мозг сновидца надо бы проверить на КТ или МРТ. Сияли преувеличенно крупные южные звезды, дремали отягощенные ягодами шелковицы, плескались лунные блики в теплых волнах гоголевской реки, но по набережной другой, любимой с юности, малой, обряженной в гранитный сюртук холодной Фонтанки шел он со случайным собеседником своим, одетым по моде столетней давности, от дома Державина к мосту через Мойку.

Когда приходило Могаевскому на ум слово «река», то была Фонтанка, не волшебные реки юга, не семикратная Обь, увиденная в дни одной из конференций, не закордонные Сена с Темзою, не мост в Праге, не самые длинные и не самые бурные из увиденных рек: всегда только Фонтанка дней детства и юности, река судьбы.

Точно так же, как и мне. Словно вся моя жизнь вместилась в ее берега, Прачечный мост, любимый Летний сад с лебедями, белыми статуями, розами возле Амура и Психеи, Инженерный замок с полудетской влюбленностью вприглядку, цирк, детский кружок рисования Дворца пионеров, руководимый Левиным, медицинская лавра Обуховской больницы, то есть Военно-медицинской академии, ярмарочные пряники возле Троицкого собора, Горьковский театр, краснокирпичный госпиталь, в котором умер мой нестарый, тяжело болевший отец; на берегу возле дома Толстого жил композитор Клюзнер, на углу Большой Подъяческой мой двоюродный дед акварелист Захаров, у Московского проспекта любимый всей семьею доктор Ревской; а свидания на берегах? а чудесный купол *almae mater*, училища Штиглица? и первый в жизни этюд на пленэре с четырьмя городскими трубами на левом берегу и Чернышовым мостом? Где мои семнадцать лет? Бродят по Фонтанке! Где мои семнадцать бед? Бродят по Фонтанке!

Мостов с четырьмя башенками когда-то было семь, теперь осталось два. Возле одного из них живет штигличанская стекольщица Наталья Малевская-Малевич и время от времени, выглядывая в окно белой ночью, видит, как плещутся в водах Фонтанки черноволосые гастарбайтеры из Туркестана, как некогда плескались в лебедином пруду Летнего сада революционные матросы. Видит ли кто-нибудь расчлененных бронзовых конюшего (или все-таки конокрада, как Манувахов утверждал?) с конем его купающимися в ночной воде?

— Один из духов, явившихся мне, — сказал Могаевскому снявшийся ему случайный попутчик, — сказал, что я непременно должен прогуляться по Петербургу с вами.

«Надо же! — подумал снявшийся себе Могаевский. — Духи. Какие все-таки странные антинаучные представления о вещах были у людей в преддверии двадцатого века».

— Если вы чего-то не знаете или кого-то не видели, это не означает, что этих «чего-то» и «кого-то» нет. Между прочим, обратиться к скрипичному строительству посоветовал мне дух Амати.

— К скрипичному строительству? Вы — мастер, делающий скрипки? Ваша фамилия, случайно, не Леман?

— Даже и вовсе не случайно, — рассмеялся Леман, а это был он. — Это фамилия моего отца, и деда, и того предка, который прибыл в осмнадцатом столетии в Россию, дабы основать в ней горное дело, доселе отсутствовавшее на ее широтах; он был маркшейдер, горный инженер. Откуда вы знаете обо мне?

— Мне рассказал о вас один антиквар из крамницы старовини «Бандура». У него увидел я вашу скрипку и даже держал ее в руках.

— Вы музыкант? Да что спрашивать, вижу, что нет. Что за «Бандура»? Что за скрипка? Где это было?

— В Виннице. Скрипка с вашей фирменной этикеткой на футляре, называемой хозяином «этикет». А у скрипки на спине под лопаткой была родинка, как у матушки моей.

Леман остановился.

— В Виннице? Я там жил с женой и детьми два года. Но скрипки, о которой идет речь, там быть не могло. Я сделал ее позже, в Стрельне. И никак не мог подобрать ей имя, так безымянной и оставил. Впрочем, у каждого инструмента своя судьба. Их продают, покупают, дарят, увозят, привозят, эти переходы их из рук в руки когда-то напоминали мне переселение душ. Так вот, ремесло лютье́ра, приказанное мне Амати, так захватило меня, что многое, важное доселе, отошло от меня вовсе. В том числе общение с духами, а ведь я читал лекции по оккультным наукам и практикам, народ в мою квартиру толпой валил: студенты, курсистки, профессора, кого только не было; я отменил и лекции, и сеансы, вышел из роли медиума. Хотя опыт, приобретенный за время общения с иным миром, произвел во мне некую неотменяемую работу, если хотите, я задумался надолго, подобно Гамлету после встречи с призраком отца. Вы не представляете, как меняет человека встреча и инобытием, с мистическим времепространством. Слух мой, и прежде отличный от слуха обычных людей, обострился совершенно, музыку, исполнителей, инструменты слышал я на особый лад, и там, где дюжинному музыканту слышна нота, мне являлся порою то дикий, фальшивый, одуряюще грубый звук, то ангельские мелизмы. Но в один из вечеров дух Амати явился ко мне вторично, сказав: «Ты должен перейти реку и пойти на том берегу в дом Тарасова». — «Зачем?» — «Там тебя ждут».

Дом Тарасова стоял возле сада «Буфф». Дворник подметал мостовую, страж неизменный, и спросил меня — кто я. Я отвечал: сосед с правого берега, скрипичных дел мастер. «Идемте, — сказал, кивнув, дворник, — я вас провожу». Он провел меня к распахнутой двери одной из маленьких квартир на последнем этаже доходного дома, в квартире находился Тарасов, толклись чиновные люди, дверцы шкафов настежь, ящики выдвинуты, футляры скрипок и виолончелей открыты. Дворник пояснил, кто я. Тарасов сказал: «Вы, должно быть, за мешком с кусками дерева?» Я и сам не знал за чем. Выяснилось, что в квартире, месте обитания скрипача, антиквара, реставратора, коллекционера, перекупщика из Италии, продолжившего дело легендарного Таризио, Пьетро Боццоло, после смерти последнего, случившейся накануне, в футлярах и ящиках нашли денег, драгоценностей, золотых монет и прочего более чем на триста тысяч, а также нашелся мешок с кусками дерева, которых Боццоло никогда никому не показывал; видимо, употреблял он их для реставрации старинных музыкальных инструментов, в которой был дока непревзойденный. У меня дух захватило, когда увидел я эти бесценные деревяшки, надписанные: *Амати, Сториони, Страдивариус, Гварнери*.

— Сколько вы за них хотите? — спросил я Тарасова.

Тот пожал плечами.

— Это всего-навсего деревянные обломки, дорого стоять не могут.

— Но на них написаны имена Гварнери, Страдивариуса, Амати, Сториони...

Тарасов брови поднял, плечами пожав вторично, что при его болезни позвоночника было непросто:

— Думаете, если на полене написать «Пушкин», полену цены не будет?

Окрыленный, ушел я домой на правый берег Фонтанки с бесценным мешком своим.

С этого момента стал я слышать особенно явственно голоса будущих скрипок из предназначенных для них древес. Хотя не исключено, что свойства моего слуха и иные не совсем привычные способности проявились не только из-за мистического опыта, но и потому, что много лет занимался я не то что нелюбимым, но попросту ненавистным

мне делом. Мне довелось прочесть о суфийских практиках, взятых на вооружение одним нашим российским оккультистом в групповых тренировках: если подопытного заставлять делать то, что всему его существу противопоказано, тяжело, ненавистно, не подходит вовсе, и повторять сие многожды, открываются в человеке некие необычайные нечеловеческие способности и возможности. Может, то же произошло и со мною за годы казарм, жизни взаперти, изучения чуждого мне военного ремесла, включая способы пытать и убивать.

— О! — вскричал Могаевский. — Я знаю таких людей из числа сидевших в лагерях! Чижевский, Козырев, Лев Гумилев, Даниил Андреев, Войно-Ясенецкий, Раушенбах, Амирэджиби, Сергей Петров, Иван Лихачев, Вера Лотар-Шевченко, Станислав Ежи Лец, Галчинский... Какие, какие практики? суфийские?

— Мне неизвестны перечисленные вами люди, знакома только фамилия Гумилев; Лев? Мой первенец подростком играл с Колей Гумилевым.

— Это его сын.

— Причем играли в индуистских жрецов-душителеев, боровшихся с демонами по приказу inferнальной богини Кали. Как фантастичен мир.

Время от времени Могаевский на несколько минут просыпался, чтобы тотчас провалиться обратно в то же сновидение с прогулкой по Фонтанке, и чуть ли не на то же место, где прервался было сон его; однако всякий раз что-то менялось неуловимо, слегка меняя и прерванную краткой явью Морфееву беседу.

Натуральные, вымышленные, снящиеся и прочие обитатели нашего архипелага Святого Петра во все времена тяготели к краеведению, испытывали склонность к домовладельческой прозе, страдали от любви и печали по прошлогоднему снегу, интересовались собственно домовладельцами, городскими архитекторами, городскими мифами и легендами. Не были исключением и наши два собеседника.

— Хозяин дома, Тарасов, богатейший, деловитый, несмотря на большой позвоночник (похожая хворь одолевала и брата его), не лишен был чудачеств несколько романтического характера; так, на крышах ледников, чьи стены выходили в сад «Буфф», устроил он прекрасный висячий садик, этакий изысканный вертоград, полный роз, разнообразных цветов, благоухающих трав, сидя в котором можно было наблюдать за всем происходящим в увеселительном «Буффе», а из четырнадцатикомнатной квартиры Тарасова в его миниатюрный парадиз перекинут был чугунный мостик. Сидя в любимом кресле, видел он шествующую в театр публику, открытую эстраду с ее канатоходцами, фокусниками, престижиджитаторами, гимнастами, красотками, отплясывающими канкан; видел он оркестр гвардейского полка, чьи музыканты одеты были в малиновые рубашки и барашковые шапочки; слушал концерты любимиц петербургской публики: красавицы Вяльцевой, Вари Паниной, Тамары, разглядывая в бинокль висячий на шее Вяльцевой знаменитый ее талисман, белого слоника, или бриллиантовую стрелу во всю грудь, с которой выходила на сцену Тамара. Перед ним проходили сценической походкою людей, для которых весь мир — театр, знаменитые актеры Моныхов, Брагин, Вавич, Феона, Пионтковская, примадонна Шувалова; шуршали разноцветными юбками да шальями, звеня серебряными браслетами цыганки из хора цыган, дефилировал в черных фраках румынский оркестр, в коем блистали особо два музыканта — первая скрипка и свирель фавна. А когда сезон закрывался, павильоны и эстрады заколачивались, облетали деревья, отцветал, скучая, тарасовский ледниковый парадиз, проходил по саду с метлою в элегической осенней печали дворник Степан, карауливший в межсезонье дремлющий сад с театром, живущий в мечтах о грядущем великолепии в подвале, где составляли ему компанию голодные крысы.

После следующего пробуждения указал ему Леман на стоящие на правом берегу три похожих дома, называемых соседями-петербуржцами «Три сестры», построен-

ных некогда господином Полторацким в качестве приданого для трех своих дочерей, и поведал, что жил с семьей в одном из них, доме Оленина, куда некогда хаживали все блистательные российские литераторы, где встретился Пушкин с Анной Керн.

— Именно в этот дом ко мне на лекции ходили толпами желающие общаться с духами. А самому мне являлись тени старых гостей старого дома. И множество духов.

— Были ли они, ваши духи, теми, за кого себя выдавали? Не было ли среди них бесов? — неожиданно для самого себя спросил Могаевский.

— Возможно, — сухо ответил Леман.

Последовала пауза, за время которой прошли они большой отрезок набережной.

— Скажите, видели ли вы когда-нибудь, ну, хоть во сне, хоть в человеческом обличье, не к ночи будь помянутого?

— Нет, — отвечал Могаевский, — но его видела подруга моей троюродной сестры.

Он было уже и рот открыл, чтобы рассказать о подруге кузины, но отвлек его лай собак.

— Что это?

— Это прислышание, — отвечал Леман. — Полтора столетия назад на месте Обуховской больницы находилась псарня Артемия Волынского. Кстати, подопытные собаки Военно-медицинской академии, ныне тут расквартированной, всегда напоминали мне призраков сей блистательной псарни. Но я с нетерпением жду истории подруги вашей родственницы о встрече ее с врагом рода человеческого.

Могаевский, прежде чем рассказать собеседнику ожидаемый эпизод, внезапно запнулся вторично, не понимая, как сообщить снявшемуся ему Леману, человеку правил и привычек девятнадцатого столетия, к тому же жившему в детстве в Москве, что огромный московский собор — обетный, победный, построенный в память о героях войны 1812 года, на который средства собирала вся страна, — был взорван в годы антирелигиозной пропаганды, на его месте собирались возвести «самое высокое в мире здание», Дом Советов, а в итоге в котловане непостроенного вышеупомянутого зиккурата соорудили открытый громадный плавательный бассейн. Потом подумал он: а знает ли снявшийся ему, что умрет перед Первой мировой войной нестарым от скоротечного неоперабельного рака желудка, оставив без средств к существованию первую разлюбленную жену с двумя детьми (не давшую ему из ревности развода) и вторую — любимую — с восемью? Наконец прервал он затянувшуюся паузу, решив говорить как есть, положившись на волю Провидения.

— Подругу кузины, как молодого специалиста, отправили на повышение квалификации в Московский институт работников телевидения. Кроме учебы, странствовала она по достопримечательностям незнакомой ей прежде столицы. Одной из самых первых находок будущей тележурналистки стал уличный открытый плавательный бассейн «Москва» с подогреваемой водой, находившийся на месте взорванного храма Христа Спасителя и, соответственно, на месте невозведенного, оставшегося проектом Дворца Советов, задуманного как самый высокий небоскреб в мире со статуей Ленина стометровой высоты на крыше.

Надо сказать, что поход в бассейн был для девушки неслучайным, родилась она на Сахалине, где плавать и управлять лодкой учатся кто до школы, кто в школе начальной, как большинство островитян всех островов мира; и тяга к плаванию научившегося преследует всю жизнь, пловец — это отчасти маниакальное состояние.

— Знаю, — подтвердил Леман, — я сам в молодости был отменным пловцом и всегда скучал по воде.

— Итак, наша девица отправилась на Кропоткинскую поплавать, точнее, на Волхонку; если еще уточнять — в историческую местность, называемую с четырнадцатого века Чертольем (по названию ручья Черторый).

Декабрь, снег, девять часов вечера, темень.

Ей выдали купальник, отправили в узкий, пахнувший известкой коридор, заканчивающийся заполненным водой отверстием трубы, нужно было нырнуть в черную неизвестность, и хоть она хорошо плавала, ей стало не по себе.

Вынырнула она в слабо освещенное водное пространство, над которым клубился пар; головы пловцов были еле заметны в клубах пара, как в сильном тумане.

В центре на некоей конструкции вроде большой этажерки угадывалась высокая фигура в черном плаще до пят и в колпаке средневекового покроя — или то был капюшон? При легком повороте головы стоящего казалось, что на нем венецианская маска врача времен средневековой чумной эпидемии, с длинным острым клювом. Впрочем, и сама она, и все очевидцы, с которыми пришлось ей говорить позже, утверждали: стоящий в плаще всегда был повернут к смотрящему спиной. В руках его был огромный шест. У нее было чувство, словно она узнала не-к-ночи-будь-помянутого, будто видела прежде.

Снег тихо и плавно падал на головы, и так же плавно пловцы двигались по кругу. Причем под музыку «Лебединого озера»: та-а, та-та-та-та-та-а!.. Этот последний штрих завершал infernalную картину. Больше желания поплавать в декабре у подруги кузины не возникло. Позже, прочтя в эссе Бориса Стругацкого о «сатане на Москве», она чуть не вскричала: да неужто и он плавал (не на пару ли с москвичом-братом?!) в ночном московском бассейне?! — но потом поняла, что то была дань любимому булгаковскому роману.

А еще позже, уже став телережиссером, поняла она, почему это плавание так врезалось ей в память: то были минуты проживания в идеальном клипе — звук, движение по мановению шеста, декорации, снег, сосульки в кудрях пловцов. Между прочим, мне встречались люди, очень горевавшие по бассейну, искренне и глубоко сожалевшие, что теперь там снова стоит чудом восстановленный храм, называвшие прорву на недозволенном фундаменте с адским надзирателем «истинным символом Москвы».

— Ну и картинка! — вскричал Леман. — Кстати, похожую фигуру видел я на картине крепостного художника Григория Сороки. Некто в черном плаще с островерхим капюшоном, стоящий то ли на плоту, то ли на пароме в центре озера спиной к зрителю. Тогда как рыбак в белой рубахе — к зрителю лицом — вытаскивает лодку из камышей на берег. В рассказе вашей знакомой и впрямь есть нечто пугающее. Снег, пар, *черный* с шестом. Серой адской пахнет.

— Нет, нет! — вскричал, улыбаясь, Могаевский. — Пахло — забыл сказать — вот как раз не серой, а хлоркой, шоколадом и карамелью. Хлоркой от воды, а шоколадом и карамелью — от попутного ветра с расположенной неподалеку конфетной фабрики «Красный Октябрь».

За цирком Чинизелли серьезный человек в толстовке прогуливал маленькую обезьянку в розовом тюлевом платьишке. Личико обезьянки было печально, одной ручкой-лапкой обнимала она держащего ее на руках, в другой держала конфету.

Показался за каштанами Кленовой аллеи памятник Петру.

— «Прадеду — правнук», — сказал Леман, — мне всегда эта надпись казалась трогательной, как то, что давным-давно готовый и спрятанный от глаз памятник поставил на место его в городе, причем именно перед своим любимым замком, Павел Первый, да и в нем самом мне всегда почему-то виделось нечто трогательное. А в его матушке Екатерине Великой, верите ли, мерещилось мне нечто отталкивающее, эти перманентные собачьи свадьбы, готовые на все фавориты... Помните, как Павел, тогда еще принц-консорт, путешествовал с молодой женой по Европе как бы инкогнито, князь и княгиня Северные, *prince et princesse Du Nord*? Они совершенно очаровали европейцев своей воспитанностью, образованностью, молодостью, движением рука об руку.

Мария Федоровна, неплохо игравшая на клавикордах, брала уроки у Гайдна. Павел бился с женой об заклад, что Моцарт выиграет ожидающееся состязание с римским маэстро Клементи.

Он подобрал в начинающей неуловимо жухнуть, терять яркость траве колючий зеленый шарик каштана с меридианной прорезью лопнувшей от зрелости и соударения с землей кожуры, в которую выглядывал свежий блестящий шоколадно-коричневый плод.

— В одном из снов я встретил возле памятника «Прадеду — правнук» своего правнука. Молодой человек, глубоко задумавшийся, нес картину; когда он переложил ее из руки в руку, чтобы наклониться за каштаном, как я сейчас, я увидел, что он несет мой автопортрет, такой свежий, словно я только что его закончил, — может, то была копия? Правнук походил на меня не только манерами, ростом, чертами лица, способностью задуматься, словно полууснув, — но этой нашей фирменной мастью, такой смолю черных волос, которую не во всякой азиатской или индокитайской волости встретишь. Откуда взялась? Так боярский род Ртищевых по матушкиной линии от татарвы и пошел, прародитель Аслан-Мурза Челеби из Золотой Орды приехал, к Дмитрию Донскому на службу поступил.

— Как вы думаете, — спросил Могаевский, — правда ли, что своим розово-оранжевым цветом Михайловский замок обязан цвету перчатки, потерянной на балу фрейлиной, очаровавшей Павла? История в духе рыцарского романа.

— Павел Первый с детства играл в рыцарские романы. Думаю, правда. Играл в солдатики, в мальтийского кавалера. Построил замок неприступный с подъемным мостом. Какой замок? Времена сих строений за два века до начала строительства сего миновали. Дворцы строили, особняки, дело шло к доходным домам. Помните сумасшедшего немецкого баварского принца, строившего замок за замком, театральные, бутафорские, не для жизни? Снесли дворец, где Павел родился, отгрохали неприступный замок, вошли в него ночью преступники, заговорщики пьяной толпой, убили императора самым уголовным образом, да будет земля ему пухом.

Леман перекрестился, глядя на часовню западного фасада.

— Подождите, — сказал он, остановившись у ограды. — Где мы встретились на Фонтанке?

— Недалеко от дома Державина, возле сада «Буфф».

— В тех местах в осмнадцатом столетии в глубине были не то что сады, а прямо-таки леса, и в чащобе лесной стоял дом Зубовых, где ночью собрались на пьянку заговорщики да и договорились, как будут императора убивать. Остатки тех лесов — сад «Буфф», Польский сад за домом Тарасова. Корни еще помнят пьяные возгласы будущих убийц. А теперь мы проходим мимо замка, где они свое злодеяние свершили.

Какую-то волну холода почувствовал Могаевский, идущую от стен Инженерного замка.

— О, да, — сказал Леман, — холодный дом, холодный, как склеп. Отстроив его и отчасти обставив, Павел устроил бал, чтобы очаровавшая его фрейлина могла потерять перчатку; а замок был не протоплен, как свечи зажгли, поднялся в залах такой туман, что лица танцующих стали неузнаваемы без всяких масок, — просто еле видны. Эльсинор себе построил *русский наш Гамлет*, а прозвище сие пошло от того, что отца Павла, Петра Третьего, убил в Ропше один из фаворитов его любвеобильной маменьки. Кстати, отец намекал прилюдно, вот об этом Павел не знал, что настоящий его отец — еще один из сбродного молебна фаворитов; откуда, говаривал он, она этих детей берет? ведь мы с ней не спим. Вот только вместо призрака отца явился нашему русскому Гамлету призрак прадеда, Петра Первого, да еще возле только что поставленного Медного всадника, явился и произнес: «Бедный, бедный Павел». Я в Михайлов-

ском замке Николаевское училище окончил, странно, что ни один дух не встретился мне ни на одной из лестниц.

В военно-инженерном Николаевском училище учился некогда и родственник Лемана по материнской линии, Федор Достоевский, у них был общий пращур из Золотой Орды, родоначальник рода Ртищевых; фамилия писателя восходит к подаренному одному из Ртищевых имения Достоево. С двумя однокашниками, Тотлебенем и Григоровичем, Федор Михайлович дружил всю жизнь, Тотлебен просил царя о возвращении Достоевского с каторги.

Призраком Павла Первого пугали старшие младших, как это описано у Лескова, привидение убиенного играло на флажолете, светящуюся его фигуру видели прохожие в окнах, однако духовидца Лемана духи замка обошли. Хотя... хотя... не крались ли таемно тени бесов по дортуарам? и кто считал ступени лестниц *в двенадцать часов по ночам?*

Лестниц в замке было немерено, а над шпилем витали боровшиеся образы архангела и дракона.

Если сложить все здешние лестничные марши (парадные, черные, забежные, потайные, от всех выходов и входов), расположить их по вертикали — выйдет гора.

Замок-миракль, из-за которого намечтал с в о й принц Норд, стоял на скале, на горе, находился на острове и назывался Мон-Сен-Мишель. На шпилье его повергал архангел Михаил дракона Апокалипсиса. Перед входом в город-замок, в горнее аббатство, стоял храм Святого Петра.

И задумал Павел Михайловский *замок на воде* с часовней Михаила архангела, неприступную твердыню архипелага Святого Петра, — Санкт-Петербурга.

По французскому преданию, трижды являлся архангел Михаил епископу Оберу с наказом выстроить храм на скалистой островной горе. В русской легенде (поддерживаемой Павлом) было однократное явление архангела стоящему на посту караульному на месте будущего замка.

По друидским сказаниям, там, где сейчас Мон-Сен-Мишель, некогда находилось подземное «Святилище дракона»; до строительства первой церкви (в восьмом веке) остров носил имя Могильная Гора.

Два раза в сутки остров-скала претерпевал приливы и отливы, в друидовы дни равноденствий, полнолуний, новолуний вода держалась восемь часов зимой и девять часов летом, а скорость прилива сравнивали со скоростью лошадиного галопа. В день святого Михаила море убывало, оставляло людям открытый проход по обмелевшему дну, подобный библейскому. Колдовство вод в Санкт-Петербурге вызывало наводнения, а Михайловский замок построен был на месте древней шведской мызы, называемой Перузина, и сие слово означало землю с твердым грунтом, менее прочих подверженную опасностям наводнений.

Даже характер шпиля напоминал венчающий Мон-Сен-Мишель, но не было на нем скульптур победителя-архангела и побежденного дракона: был крест.

Надеть плащ цвета перчаток Лопухиной (или хотя бы шарф), пройти вдоль стен цвета любви к трем апельсинам, собирать каштаны, бывшие весной свечами соцветий, недоумевая: почему аллея, обсаженная каштанами, называется Кленовой? Уж не потому ли, что каштаны растут во Франции? и два фасада, да и сами врата, напоминают французские?

Мы с тобой живем в городе, где тяжелой поступью ходят призраки по воздушно-му замку.

Пройдя ограду, Леман остановился еще раз, на сей раз на мосту:

— А ведь был и третий дом, связанный с убийством императора, где собрались убийцы праздновать удачное мероприятие свое почти что над гробом, — дом замужней се-

стры Зубовых Ольги Жеребцовой, выходивший северным фасадом на Английскую набережную (что удивительного, заговор в большой мере инспирирован был англичанами, готовили убийство и гуляли на английские деньги патриоты наши), а хозяйственными флигелями на Галерную улицу (вскоре вместо хозяйственных построек возвели там один из первых в городе доходных домов, чтобы было где Пушкину с молодой женой в первый год после свадьбы остановиться). А убийцы пили всю ночь, праздновали, бахвалились, грызли кости, аки вурдалаки, а как пошло дело к утру, схватил за края один из пьяных кудеяров скатерть, связал узлом все остатки пира, сделано дело, сделано, браво парни-блатари, да и шваркнул узел через окно во двор, ох и звон пошел от битых бутылок, бокалов, рюмок, тарелок, блюд, серебряных приборов, оказавшись на земле, намокал узел, обагрался красным вином опивок и ржавчиной соусов, точно кровью. Пушкин с молодой женой жили в бельэтаже; в одной из комнат в стену было вделано огромное зеркало. Прожили в квартире недолго, то ли была она слишком дорогая, то ли неуютно было поэту жить рядом с двором, в котором разбился узел с остатками пира царевичей.

Довелось и мне, о читатель, побывать в бельэтаже вышеупомянутого дома на Галерной. На доме теперь мемориальная доска, а двухсотлетнее зеркало, в котором отражались молодожены, цело и налито до краев невозмутимой водой былого.

— Но вот и мой катерок, — сказал Леман.

Катер качался на водах Мойки возле небольшого деревянного самодельного причала, стоял в катерке капитан, худощавый юноша в кожаной куртке, в кепи, надетом козырьком назад, помахавший Леману рукою.

— Мы встретились у дома Тарасова, где получил я бесценные куски дерев для скрипок моих. И с тех пор стало посещать меня повторяющееся сновидение: вот стою я на берегу теплого моря-океана, выкатывает мне под ноги волна обломки древнего затонувшего корабля, и является мне мечта: добыть со дна морского остатки отлежавшихся на дне галиотов, бригов, баркентин, шхун и сделать из них волшебную скрипку. Я придумал ей имя. Сначала хотелось мне назвать ее «Шторм», но в третьем сне я передумал, назвал ее «Буря». Одно из ее волшебств было бы в том, что, кроме слышного голоса, заложен был бы в ней неслышный, она умела бы привносить в наш полный грязных звуков мир небесную тишину.

Катер промчался под мостом, на котором стоял Могаевский, пронесся к Фонтанке, а он не успел увидеть, куда свернули, к истоку или устью? и там, и там была Нева; где лежал путь в Стрельну? должны ли были Леман с капитаном проследовать мимо Петропавловки или, миновав всю Фонтанку, двигаться к привидению Подзорного дворца? и сколько им плыть туда, *где хорошо*, к рыбацким причалам Стрельны, к ее водопаду между водоемами, где собираются все окрестные туманы, помнящие голоса перекликающихся плавсредств, к ржавым мостикам, а ведь в Стрельну можно приехать, приплыть, прилететь, прибыть...

Его будила жена.

— Вставай, вставай, завтрак на столе, скоро машина придет. У тебя вид усталый спр-сонок, может, не полетишь?

— Да что ты, так удачно договорились, погода позволяет, ситуация позволила, военным вертолетом до места, лучше не придумаешь, я хоть и предпенсионный, а все еще ректор, государственный человек.

Кроме двух пилотов, в вертолете военного ведомства летели четверо пассажиров: двое молодых военных, один с планшетом, другой с плоским металлическим чемоданчиком, Могаевский и некто в штатском, в коем Могаевский, по обыкновению, тотчас угадал особиста, они были узнаваемы всюду и всегда, начиная с кинокомедий всех стран и народов, главным образом, по дресс-коду. Что за засекреченные ателье шили

их специальные черные костюмы по своеручным лекалам? Впрочем, по особому благу (или благодаря промышленному шпионажу?) таковые же шили для себя мафиозные и охранники, незнамо чьи шестерки и прочие цирковые униформисты. Всегда малые серии, даже ширпотребом не назвать, никакого индпошива, почерка закройщика и прочих человеческих глупостей.

«Интересно, за каким псом этот старомодный наученный работник претя в поименованную станицу, то есть железнодорожную станцию? — думал особист. — Вроде там ни НИИ, ни лаборатории, ни секретного производства не имеется».

— Вы летите в командировку? — осведомился он вслух.

— Нет, — отвечал Могаевский, — цели у меня сугубо личные. Мне хотелось бы найти хозяйку, у которой мы с матушкой после эвакуации жили во время войны.

«Вот оно как. Ну, что матушка твоя в оккупации работала в немецкой комендатуре, не новость, а что и ты был с нею, я не знал. Пропустил? Недочет информации?»

— Сколько же ей лет, этой хозяйке?

— Я надеюсь, она жива. Если нет, надо бы посетить ее могилу, нанять кого-нибудь из кладбищенских работников, чтобы за могилой следили. Может быть, небольшой памятник поставить.

— Можно было бы навести справки по Интернету. Вы ведь знаете ее имя, отчество, фамилию, год рождения?

— Года рождения и отчества не знал никогда. Звали ее Христина Ключе.

— Немка?

— Муж был немец, должно быть, из колонистов.

— А вам сколько было лет, когда жили вы у этой фрау Ключе?

— Неполных пять.

— Фантастика, что вы ее помните! И хотите, чтобы кто-то следил за ее могилой. Почему же вы решили посетить памятные для вас места именно сейчас?

— Раньше времени не находилось, — отвечал Могаевский, отворачиваясь к иллюминатору.

«Еще и рыло от меня воротит, — подумал особист. — Тоже мне, писатель. А какой псевдоним-то придумал! Имя и фамилия польского образца, чуёт, знает, что в новой стране нашей столько политиков и просто людей тяготеют к Польше. И не времени не находилось, а подозревает — скоро на пенсию отправят, заменят кем помоложе, поборзее и пооцифрованной на нужный лад. И никто катать в казенном летательном аппарате не станет».

Двое молодых военных сидели, как влитые, молчали, глядели в оконца.

Итак, они летели в оливковом военном вертолете, облепленном неопознанными множественными элементами таблицы Менделеева, а движущиеся там, внизу, окрестности, доли, холмы, леса, рощи, поля были поваплены неопределимой безымянной пылью серебристой. Даже пыльца на крылах бабочек, всякой малой летялды, вызвала к счетчику Гейгера. Что там Ариадна со своей самодельной тканой красной нитью! у нас всякая Одарка норовит вплести в домотканый старомодный половичок нити вольфрамовые, титановые, и прочие, и прочие, чтобы возлюбленный, встав с постели и ступив на рукоделье ее, был приворожен, околдован, зачарован, закольцован, охмурен под завязку и не мог в ближайшие сто лет без своей рукодельницы и шагу ступить.

«Да что ж это такое лезет мне в голову, уж не новая ли книга проклевывается, раз теперь я писатель? Нет, нет, отдохнуть, отвлечься!»

Засим вынул он из портфеля, купленного некогда в зарубежном городе Д. и сделанного тамошними кожемяками из овчины ягненка, шикарно изданный журнал с картинками для богатых любопытных людей в целях поддержания в них навыка чтения и восприятия красоты, а заодно заманить куда следует в качестве туристов; однако

читать не стал, задумался, держал на коленях, пока особист не попросил дать ему фешенебельное типографское изделие посмотреть. Из журнала при передаче из рук в руки выскользнул листок бумаги, спланировал на пол летящего винтокрыла. Особист поднял листок, передал Могаевскому, в соответствии с профессиональным навыком успев выведенное на листке прочитать.

А прочитав и передав, забыл о навыках и спросил с нескрываемым людским любопытством:

— Это что же у вас такое? Шпаргалка для алхимических экспериментов? Тут есть связь с вашей работой по части натовских экологических лабораторий? Я не силен ни в химии, ни в физике, слов таких не знаю. Надеюсь, не шифровка?

Глянул на листок и хозяин его:

ауреолин	ализарин
кобальт	пепел
кадмий	люмьер
церулеум	мадера
ганза	нейтральтин
индантеновый	свечная копоть
сажа газовая	хинакридон
гелиос алый	тиоиндиго
мажента	виридиан
сатурновая	фталоцианин
тициановый, прусская, фландрская, веницейская, индийская, неаполитанская, англий- ская красная, сатурновая, марсианская, шахназарская, гутангарская	зелень Хукера
окись хрома	серая Пейна

— Человек не обязан все на свете знать, — отвечал Могаевский с улыбкою. — Одна из моих внучек поступила в художественную школу, это список красок, которые мне велено привезти ей из ближайшей зарубежной поездки. Я и сам, признаться, когда читаю: «серая Пейна» — понимаю ровно половину и всякий раз спрашиваю себя: почему именно Пейна и кто он такой? Может, слово вообще женского рода как *Сиена* и *Охра*...

Особист вдруг почувствовал некую симпатию к Могаевскому, словно общая область невежества сблизила их.

— Куда едем? — спросил шофер.

— Адреса не знаю. Деревянный дом рядом с излучиной реки.

— Да откуда же взяться деревянным домам? Никогда их там не было.

— Я жил в одной из окраинных изб во время войны.

— Н-ну... Вы бы еще позапрошлый век вспомнили. Все переменялось. Мы уже давно не деревня, а город.

— Я вспомнил улицу! — вскричал Могаевский. — Терская!

— Поехали, — сказал шофер. — Убедитесь, что ищите вчерашний день. Терскую знаю. «Вчерашний? Я позавчерашний ищу».

Нашлась Терская, вернее, незнакомая улица с таким названием, уставленная кубиками хрущоб, между которыми, подобно небоскрегам, торчали три семиэтажных высотки. За последней семиэтажкой в проемах детских площадок видна была и речная излучина.

— Вот, сами видите. Где вас посадить?

— В конце улицы выйду.

— Там начало.

Некоторое время стоял он в нерешительности, ухватившись за ручку телячьего портфельчика своего. Окружало его подобие спального района, имя которому было легион.

Решив выйти к реке, обошел он соседний дом. Обнаружилось, что городок заканчивается, обрывается, дальше размещались пустыри, пыльные кусты, холмы, восхолмия, тропы вместо асфальта, огибающего незнакомые жилые коробки. Он послушно побрел по асфальту, чувствуя глубокое разочарование, печаль, дурость и старомодную сентиментальность прошлого, Христины, детства, жизни с матушкой Эрикой, надежд на уникальный по тем ветхозаветным годам фотоаппарат соседа, который мог сфотографировать их с матушкой, хозяйкой, соседскими ребятишками; по дороге ему мерещился потертый альбом с этими несуществующими вещдоками утраченного бытия девять на двенадцать.

Между белой коробкой новых жильцов и полосой прибрежного песка берег пошел под уклон, зашелестел травой забвения, — и увидел он избу дальних дней, обведенную полусломанным, кое-как чиненым-латаным серебристым забором.

Покосившаяся изба не напоминала аккуратный ухоженный домик Христины, но окна не были заколочены, к подгнившему кривому крыльцу протоптана была тропка; какая-то нелепая фигура ковырялась с лопатой в земле картофельного надела, перед которым помахивал драными неопределенного оттенка рукавами двойник обитателя избы — огородное чучело в некогда соломенной шляпе.

— Хозяин! — крикнул Могаевский. — Хозяин!

С неожиданной бойкостью и скоростью копающийся в ботве человек, хромая и опираясь на свою лопату с коротким черенком, сходявшую при случае за трость, поскакал к калитке, крича:

— Ты опять приперся?! Тебе надясь и третьего дня было, блин, сказано: вали, хромай отсюда, падла чиновная, своим портфелем с документами не трясина, не съеду, ни хрена не подпишу, фиг вам, чекайте, трохина чекайте, вот вскорости сдохну, тогда снесите дом, сводите участок, разводите свое говенное благоустройство, — тут он произнес тираду на прокуренном матерном в качестве вводных слов, — а пока я жив, блин, не съеду, не съеду, ни фиги не подпишу, ну, ты оборзел, в третий раз рожу свою показываешь, я тебя уже дважды послал.

— Какой же третий раз, — сказал отработанным своим спокойным педагогическим тоном Могаевский, на всякий случай сделав от калитки шаг назад, глядя на многофункциональную лопату, — и какое надясь, если я только что из столицы прилетел?

— Прилетел? — спросил, стихая, хозяин последней избенки. — Это на чем же? На палочке верхом? Аэропортов не держим.

— На военном вертолете.

— Должно быть, не брешь, вертолет военный пролетал.

Пока он произносил свой монолог, Могаевский разглядел его во всех подробностях.

Одет хозяин избенки был в неведомого цвета недатируемое галифе с лампасами и ватник с пуговицами разного размера и фасона, кое-где на ватнике из мелких дыр торчали фонтанчики ваты, словно предприимчивые пичуги выклеивали оную для утепления гнезд; в нескольких местах ватник был прожжен, украшен угольно-коричневыми пятнами одежного пала. Под ватником на голое морщинистое тело надета была доисторическая майка. На шее болтался гайтан без крестика, на голове красовалась не потерявшая еще стертых признаков новизны круглая восточная войлочная шапчонка, а ноги в разноцветных вязаных носках обуты были в калоши.

— И в портфеле у меня никакие не документы, а бутылка коньяка, коробка конфет и консервы.

— И что же ты с таким набором, — спросил озадаченный домовладелец, — ежели ты не насчет участка, здесь делаешь?

— Христину ищу, — отвечал Могаевский.

— Христину? Клюквину?

— Ключе.

— Она через два дома вон в той стороне жила. Ладно, заходи.

Шли к крыльцу.

— Не найдешь ты ее. Ее нет.

— Она умерла? Если вы знаете, где на кладбище ее могила, скажите, хочу цветы положить, а если надо — памятник заказать или крест.

— Умерла ли и как, не знаю. Никто здесь не знает. Я ведь тут полицаем был. Самым младшим. Сам не убивал, а всем полицаям был шестеркой. Почти всех расстреляли, двоих повесили. А я по лагерям пошел. Когда сюда вернулся, уже дома строили, а изб, кроме моей, тогда стояло три. И что с Христиной сталось, никто не знал. То ли ее расстреляли за пособничество немцам, не знаю, какое пособничество, немцы ее уважали, то дрова ей солдат колет, то земли для парника привезут, брали они у ней молоко, яйца, кто-то небось донос написал. У нее хозяйство было справное, может, разжиться хотели. Хотя некоторые считали: уехала она хлопотать насчет мужа и сына, которых как немцев в начале войны наши в лагерь замели.

Могаевский открыл портфель, достал коньяк, конфеты и консервы.

— Для нее вез. Выпьем не чокаясь.

— А ежели жива она?

— Была бы жива, жила бы тут.

— Конфеты мне ни к чему. Хотя племянница приходит из крайнего белого дома по хозяйству помогать, ей подарил бы. Или обратно повезешь?

— Не повезу.

Выпив полстакана, Могаевский опьянел, день трудный, летели, едва жена добудилась после прогулки с Леманом по Фонтанке, избы исчезли, вместо станичных огородов стояли хрущобы, да и Христины не было, все пошло не так.

— Для чего ты ее искал?

— Мы с матушкой в эвакуацию ехали, невзначай на вашу станцию попали, у Христины жили. Благодарить ее хотел, узнать, чем могу помочь.

— Жили? С матушкой? У нее жила такая маленькая городская в кудряшках с чернявеньким шкетом, похожим на еврейчонка. Говорят, она в комендатуре работала.

— Шкет — это был я. А матушка моя чистокровная немка, только ленинградская, знала немецкий, как русский.

После следующего глотка Могаевский перешел на «ты» и сказал:

— Еще год назад я бы тебя спросил: с чего бы вдруг на еврейчонка? А сегодня не спрошу.

— Странно, — сказал полицай, — вроде жили рядом, а вблизи я вас увидел только раз. В тот день, когда толпу евреев гнали расстреливать за околицу, в овраг. Солдаты шли цепью по бокам, и мы, полицай, шли, мы должны были закопать овраг с покойниками и разобрать их барахло, они ведь вещи тащили, им сказали, что их отправляют на новое место жительства. Вели детей, несли младенцев, волокли узлы, один шкотный старик нес стенные часы, сейчас в избу зайдем, часы покажу, а ведь идут! хрен знает как, но идут! Им, чай, лет сто.

Пока заходили в избу, полицай, изрядно захмелевший (а вроде бы опьянеть было особо не с чего), продолжал говорить:

— Откуда, тогда я думал, да и сейчас думаю, откуда столько жидов нагнали? Собирали, должно быть, со всех окрестных станиц, здешних-то всех замели, да к тому же, похоже, из эвакуированных поездов притащили.

Стены полицаева жилища словно пропитаны были тьмою, опалены несуществующим пожарищем, прокурены, пустотны; должно быть, тут цвела не один год плесень, но отползла в глубину щелей. Привычных оку в деревенском пятистенке икон не было. Не было и традиционных (в одной рамке штук восемь) фотографий родни, на которых сидел бы бородатый молодой прадедущка рядом со стоящей за его плечом и на плечо руку ему положившей прабабушкой, или нянчили младенцев окруженные мальцами и подростками молодухи, бабушки, тетушки, снохи, сватья, свекровки, а возле красовался солдат с наградами на груди или пращур с любимыми собаками; никого.

Могаевскому случалось увидеть в деревянных избах репродукции известных картин, у одних из «Нивы», у других из «Огонька», чаще всего встречались шишкинские мишки в сосновом лесу, васнецовские «Три богатыря», левитановские «Над вечным покоем» и «Заросший пруд», репинские «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Бурлаки на Волге» и «Не ждали», полная особого смысла на наших широтах «Всюду жизнь», советские «Опять двойка», «Обеспеченная старость», «Допрос коммунистов»; в набор ухитрялись затесаться какая-нибудь русалка на клеенке, герцогиня Гейнсборо, Ленин в Горках, чаевница-купчиха; красота спасала мир.

Но и красота тоже отсутствовала в геометрии комнаты, где на одинокой книжной полке вместо книг стояли свеча в консервной банке, фонарик и керосиновая лампа.

На окнах сияли белизной занавески, видимо повешенные рукой приходящей племянницы.

Посередине свисала с потолка лампочка Ильича, не удостоенная уютom светильника либо оранжевого абажура, бравирующая голой правдой своей.

— Вот они, часы, глянь, — хозяин открыл дверцу узких темных с колоннами на углах, вазочками наверху колонн, часов, чтобы гость увидел латунные гири и начищенный, хоть и тронутый витиеватыми царапинами металлоточца ходящий туда-сюда диск маятника.

Наверху над большим циферблатом распахнуто было оконце для кукушки.

— Не, не жди, не закукует, нет ее в помине, то ли свалила зозуля в теплые края, то ли копыта откинула, то ли слямзил кто.

Маятник исправно отмахивал путь свой, двигалась тоненькая секундная стрелка, а вот от минутной и часовой остался только обломок, неизвестно чей, так что определить, который час, не представлялось возможности.

— Я часы, еще когда живой старик их в толпе нес, заметил. Какая вещь! Лет сто ходят, не меньше. Тогда и тебя с соседским шпендриком увидел, вы на углу переулка стояли, детям еврейским махали, а они вам. Мамахен твоя из переулка выскочила, вас за руки схватила, поволокла прочь. В этот момент офицер приказал у одного из идущих отобрать футляр, красивейший футляр со скрипкой, солдат отбирал, еврей не отдавал, дай ему в зубы, сказал офицер, не могу позволить, чтобы старинный дорогой инструмент пулями испоганило. Мне один из наших полицаев, шпрыхавших по-немецки, слова его перевел. Но и скрипач понял, куда их ведут, отпустил футляр, что-то сказал офицеру, вытирал кровь, и вдруг, глядя вдаль, в конец переулка, реку, может, увидел, стал улыбаться, с глузду, что ли, съехал; дайте ему еще раз в морду и верните на место, сказал офицер. Дали, вернули, шел, улыбался, расстреливали — тоже улыбался, я видел. Возле оврага уж до всех дошло. Уже расстрелянные падали, кто-то в толпе кричал, многие молчали, я слышал, как маленькая девчонка спросила у матери, та вела двух дочек за ручки: «Мама, а когда расстреливают — это больно?» Все они валялись в овраге вповалку, мы прикопали их привезенным накануне песком, песок посыпали золой, хлоркой, по нашим палестинам каждые десять лет гуляла чума, офицер ее боялся. Потом прикопали землей, но тонким слоем. Те, кто туда ходил, рассказывали,

что земля два дня шевелилась то там, то сям. Узлы с барахлом жгли в двух соседних яминах, оттуда золу брали. А из вещей разрешено было каждому взять, кто что захочет. Я взял часы. Офицер ушел со спасенной скрипкой.

— Скажи, — спросил Могаевский, — а как этот скрипач выглядел?

— Как может выглядеть покойник?

— Нет, когда еще жив был.

— Ну, не знаю. На нем был такой широкий длинный серый мантиль. На лицо он был, кажется, симпатичный, на жида не походил, нос не крючком, темно-русый, не кудрявый. Наверно, они разные бывают.

— А что там теперь? Братская могила?

— Мемориал. Евреи строили. Натуральные, из Израйловки. Как открывали, солдаты — и наши, и ихние — стреляли в воздух. Оркестр играл. На военных, кстати, вертолетах и на автобусах приезжали израильского правительства представители и наши городские власти. И сейчас раз в год приезжают.

— Ты туда ходишь?

— Зачем? Кладбище-то еврейское. Я на наше хожу, в другом конце станицы, за станцией, у меня там родители лежат.

— Далеко до мемориала?

— Недалеко. Но дорога нехорошая. Вот как по переулку до нее, то есть до попиндикулярной улицы дойдешь, глянь направо. Там улица над откосом упирается в березы, семь стволов, специально посаженные, видны издалика хорошо. До берез километр или полтора. По обе стороны лестницы вниз.

— Пойду туда.

— Ну, иди, иди. Все же достопримечательность. Я тебе и цветок дам, племянница за парником розы плетистые развела. Я ей говорю: зачем они мне? А она: пусть растут, красивые.

Хозяин закрыл за незванным гостем кривую калитку.

— Ну, прощай. Что-то ты с лица сошел. Дойдешь ли?

— Дойду. Обрато меня отвезут, когда отзвоню по мобильнику.

Вот и переулок, и угол, где стояли они с соседским озорником, улица, по которой текла рекою обреченная на гибель толпа. Мальчик из толпы показал ему свою любимую машинку. Налетела сзади Эрика, схватила за руки, потащила прочь, они едва за ней поспевали.

Он остановился, оглянулся. В эту минуту он уже знал, что человек, у которого отобрали скрипку, — его отец, знал, почему он улыбался, идя на смерть: в глубину переулка убегала его тайная жена, уводившая подальше от расстрельной дороги двух мальчонков, и в младшем, маленьком, разглядел он своего сына, похожего на него четырехлетнего, да и роман с Эрикой случился пять лет назад.

Знание и понимание приходили вне порядка, склада и лада, логики, привычного алгоритма.

Не так уж и неправ был, думал он, приемный мой отец, которого я с юности до зрелости почитал за родного, когда взял с меня клятву, то есть слово, не пытаться узнать что-нибудь о моей предательнице-матери, никогда не искать встречи ни с ней, ни с ее родственниками. Вот я написал и напечатал книгу с воспоминаниями о маме Эрике, и что же? что происходит в моей доселе упорядоченной, правильной, складной, удачной — во всем! от лет учения, туризма, комсомольской и служебной карьеры до женитьбы и научных трудов — жизни? — я напиваюсь с отсидевшим в лагерях полицаем возле развалюхи с украденными у убитого старика часами без стрелок и тащусь по распроклятой расстрельной дороге, по которой вел мой собутыльник умирать любовника матерью моей, перед смертью узнавшего, что у него есть сын.

Мало того, думал он, этот полицейский видел моего отца, а я никогда. «Кстати, — тут он остановился, — а почему бы мне не пустить в ход связи (как с военным вертолетом), чтобы вызвали нынешнего хозяина часов с кукушкой (без кукушки и без стрелок) в местную милицию, составили с его слов фоторобот, был бы у меня отцовский портрет, я знал бы, как он выглядит, а по портрету, может быть, в каком-нибудь чудом уцелевшем архиве ленинградском нашлось бы личное дело, настоящее фото, имя, отчество, фамилия...»

Улице, казалось, не будет конца.

Маячащая впереди линия берез играла в линию горизонта: удалялась по мере приближения.

Там, где по четной и нечетной сторонам улицы стояли трехэтажные и пятиэтажные коробки домов, ему попадались люди, кто-то шел вдоль дома в магазин или на помойку, кто-то пересекал дорогу, иные его обгоняли, иные двигались навстречу. Но в отличие от прежних сельских жителей люди утеряли старинную российскую традицию здороваться с первым встречным, шли как заколдованные, отчужденные, подобные персонажам не понравившегося ему давнишнего фильма кинофестиваля (подобные фестивали любила его невеста) «Любовники из Терюэля».

Дома закончились, улица окончательно превратилась в дорогу, но не в Дорогу жизни, по которой прибыли они с Эрикой на юг, а в дорогу смерти, в конце которой сгинул его отец.

Он думал о приемном отце, великом враче, вырастившем его, всякий день с детства его задачей было не посрамить отцовской фамилии, славы, величия, отец казался ему божеством. Но словно чувствовался в божестве некий легкий холод, отстраненность, непреодолимая дистанция, которую объяснял он тем, что Эрика предала Родину, отец не мог этого простить, оправдать, и тень предательства лежала на сыне. Но сейчас, на дороге к удаляющейся линии белых брезжащих деревьев, думал он об улыбке шедшего на смерть, узнавшего о существовании общего с Эрикой ребенка; «когда его расстреливали, он тоже улыбался», сказал полицейский, то есть думал об отцовской любви, не зависящей от обстоятельств.

В последние минуты земного пути отец любил его больше жизни.

Как только Могаевский это подумал, березы приблизились, он очутился перед их семью стволами, перед склоном, к подножию которого вели две светлых сбегających вниз лестницы.

Повинуясь неписаному (и малоизученному) своду человеческих пространственных предпочтений (заставляющих, например, художников рисовать левый профиль, а домохозяек перемешивать каши, кисели и смеси по часовой стрелке), он спустился по правой.

Начав спускаться, он уже видел мемориал целиком.

Сооружение походило на каменное корытце, встроенное в среднюю часть уступа холма, на котором находился овраг, и напомнило ему памятник Марсова поля.

Невысокими, чуть ниже человеческого роста, стенами теплого золотистого ноздреватого камня, словно всегда, даже в пасмурные дни, освещенного солнцем, был обведен вскрытый в камне до почвы участок оврага, где лежали скульптуры, черные, бронзовые, укрепленные на штырях подставок, трава скрывала подставки, скульптуры словно парили в воздухе. Время от времени приставленный к мемориалу садовник менял травяное поле, вереск сменяли лаванда, лобелия, зелень овса, барвинок, это предстояло ему увидеть в последующие приезды; скульптур было семь: старик, прижимающий к груди часы, подобные увиденным Могаевским в избе полицая, мальчик с игрушечной машинкой, девочка с птичьей клеткой (дверца открыта, птичка улетела), ле-

жащая ничком молодая мать, обнимающая младенца, зажавшего в ручке погремушку, семисвечник, три птицы (сова, улетевшая из девочкиной клетки канарейка, вылетевшая из стариковских часов кукушка) и большая книга, чьи бронзовые листы можно было перелистывать. Одну страницу Могаевский перевернул.

На четырех углах прямоугольника с травой стояли небольшие стелы с узкими бронзовыми литыми досками с текстом. Он не разглядывал текст, не читал его, только дотронулся до отлитых букв; был ли то алфавит, понятный только израильтянам, или встречался перевод на кириллице и латинице, осталось ему неизвестным.

Он не особенно разбирался в искусстве, хотя жену сопровождал на все выставки, что в ленинградской юности, что в заграничных поездках, что в новой своей южной стране; но скульптор, должно быть, был талантлив необычайно, спящие вечным сном фигуры не походили ни на манекены, ни на условные угловатые тела, и ему пришлось снять очки, когда очутился он возле бронзового мальчика с машинкой без одного колеса. Откуда художник мог знать, что была машинка, старая, красная, чудесная, и мальчик помахал рукой, а он ему помахал в ответ?

На листах стел, так же как на листах книги, зияли задуманные архитектором и скульптором следы от пуль, круглые вспарушины с неровными краями.

Он вспомнил о четырех искусственных розах в портфеле, припасенных им накануне: на их улице держал цветочную лавку китаец, кроме натуральных цветов, торговал самодельными, совершенно удивительными, не походившими на наивные яркие бумажные квіти кладбищенских торговых, скорее напоминавшими неуместные загадочные художественные произведения.

Достав китайские цветы, добавив к ним плетистые розы от полицая, он никак не мог сообразить, куда их положить, не находил места, где не нарушил бы идеального равновесия мемориала.

Спустившись еще на один марш лестницы, он оказался уже не на склоне холма, на ровной земле. словно гигантской лопатой врезан был выступ с каменной, тоже ноздреватой и золотистой, как все стены, стеною. Подойдя ближе, он увидел в углу щели между плитами, куда и воткнул свои розы. Поднимаясь с корточек, он споткнулся, упал на колени, уронил портфель, оперся ладонями о вертикальную стену, тут же поднялся из этой случайной позы рембрандтовского блудного сына, отряхнул джинсы, взгляделся.

Стена по замыслу архитектора была параллельна стенке оврага, и там, за ней, за полуметровой, что ли, земляной толщею лежали все убиенные, расстрелянные, ставшие скелетами со сплетенными костями.

Он прикоснулся к камню рукою, подумав: а что если там, в овраге, так же, в той же точке, впечатал в землю ладонь отец?

Камень был теплый, и словно оттуда, из могилы, шла волна любви отца, и деда, и прадеда, всех ветхозаветных прапрашуров, любивших его там, в глубине веков, в момент, когда родились их собственные дети.

За его спиной за прямоугольной площадкой, обсаженной цветами, мелькала дорожка, автомобильная стоянка, куда, вероятно, по другой дороге прибывали делегации, посетители, представители.

Он отошел от овражного оссария, пора было уходить, уезжать, звонить, чтобы его отправили в обратный путь.

И стихло все.

Мелькнуло: может, во сне с прогулкой по Фонтанке Морфеево смешение времен превзошло себя? то есть мечта Лемана давно сбылась, давно была овеществлена греза о скрипке, способной сыграть небесную тишину? уж не на ней ли играл отец? Из чего была сработана она? из деревьев, убежищ древнегреческих дриад? из обломков су-

дов, побывавших в разных морях или океанах акватории планеты нашей, чувявших эхо Марианской впадины, научившихся понимать язык немوتствующих рыб? Струны ее и смычок наполнены были ветром степей, играющим всякой струною; маскировалась она под обычный струнный инструмент, была способна поднять бурю, укротить шторм, настроившись на музыку сфер привнести в земные пространства небесную тишину.

Воздух начинал наливаться лазурью, почти незаметно, исподволь, темнело.

На небосводе возникали звезды и движущиеся огоньки, не разобрать, что за светцы: спутники? дроны? сигнальные огни самолетов? фонарики ангелов, слетевшихся к столпу космической тишины?

Могаевский, запрокинув лицо, глядел в небо, и казалось ему, что стоит он на дне небесной криницы, уходящей в бесконечные дали и выси, полные небесных тел, которым не было названия с сотворения мира.

Эпиграфы, не вошедшие в окончательную редакцию

В 1917 году, тяжело больной дизентерией, я был засыпан в блиндаже при артиллерийском обстреле. Из-за контузии я потерял память, получил тяжелые нарушения речи и движений. Желая меня успокоить, врач сказал: «Только выкиньте из головы музыку, а для легкой торговой профессии есть еще кое-какая возможность».

Карл Орф

Хор «Семь сотен интеллектуалов поклоняются цистерне с нефтью» из двух тетрадей хоров на стихи Бертольта Брехта.

Он же

Предок мой пересек границу Российской империи в 1766 году по приглашению Екатерины Второй. Тогда за каждую немецкую семью Екатерина выплачивала человеку, который организовывал переселение немцев на свободные российские земли, некоторую сумму денег. Как известно, бухгалтерские книги хранились вечно, вот они и сохранились, и каждый немец, в то время пересекавший границу, известен по имени.

Борис Раушенбах

Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюрнберге, я немец, а не рогатая говядина!

Н. В. Гоголь

Образ музыканта — это что? Это человек со скрипичным футляром в руках.

Владимир Зисман

И тогда мне приснилось, что действительность — сон, а сон, который я вижу, — это действительность.

А. П. Чехов

Все персонажи вымышлены, все совпадения с реальными событиями случайны.

Титр в конце телесериала

РАССКАЗЫ

ПОЛТЕРГЕЙСТ

Элеонора Дмитриевна Курошупова, заместитель главы администрации района по социальным вопросам, а заодно и главный архитектор, приняла уже вторую таблетку цитрамона, хотя и было-то всего полдесятого утра. В голове стучала барабанная дробь, вернее, стук раздавался где-то рядом, но столь часто, что Элеоноре Дмитриевне казалось, будто стучит ее мозг, пытаясь вырваться наружу. Черепушка госпожи Курошуповой раскалывалась не на шутку.

— Зина, — склонилась Элеонора Дмитриевна к селектору. — Вызови мне, пожалуйста, врача из поликлиники. Лучше Нину Крапивную, если свободна. Пусть заскочит поскорее.

— Так плохо, Элеонора Дмитриевна? — посочувствовала в ответ секретарша.

— Мочи нет, Зина, просто ужас какой-то. Выть прямо хочется, а причину не пойму.

— Сейчас полнолуние, Элеонора Дмитриевна, у многих так. Вот и у моего пса Мефистофеля то же: как взбесился, на цепи сидит и целыми ночами воет и воет! Всю душу вымотал.

— Ну что ты сравниваешь меня с каким-то Мефистофелем, Зина? — возмущенно нахмурила брови Курошупова. — Я же не дворняга какая-то.

— Да нет, что вы, Элеонора Дмитриевна, конечно, не дворняга! Просто я про то, что и собаки тоже воют. Чуют, видать, что-то.

— Что чувствуют, Зина?

— Ну, что-то нехорошее, — раздался из селектора боязливый шепот секретарши. — Потустороннее.

— Ой, прекрати уже, Зина! Какое здесь, в здании бывшего райкома партии, потустороннее может быть? Не говори глупостей.

Минут через сорок дверь госпожи Курошуповой отворилась, и в кабинет вошла врач-терапевт местной поликлиники Нина Крапивная.

— Что случилось, Элеонора Дмитриевна? — уселась она напротив главной архитекторши.

— Не могу больше, Нина! Голова лопается, ей-богу, внутри все стучит и стучит, сил никаких нету. Я уже и цитрамон пью пачками, и анальгин — ничего не помогает.

— И давно так-то? — вытащила из сумки тонометр врачиха.

— Может, с неделю, а может, с месяц или того больше, — тяжело вздохнула Курошупова. — У меня вообще такое ощущение, Нина, что всю жизнь.

Дмитрий Павлович Воронин родился в 1961 году в г. Клайпеде Литовской ССР. Сельский учитель. Член СПР. Автор трех книг прозы. Лауреат премии А. Куприна. Лауреат издания «День литературы» (Москва). Публикации в журналах «Нева», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Север», «Подъем», «Сибирь», «Дон», «Простор», «Огни Кузбасса» и многих других. Участник 45 альманахов и прозаических сборников в России и за рубежом. Проживает в п. Тишино Калининградской области.

- И что, постоянно так?
- В том-то и дело, что нет. Только на работе. Дома-то все в порядке.
- Хм, странно, — закончила проверять давление у Курощуповой Крапивная. — С давлением у вас все в порядке. Вот в других кабинетах, так там и давление прыгает.
- А что, я не одна на эти стуки в голове жалуюсь? — насторожилась Курощупова.
- Нет, вы не первая.
- А кто еще?
- Председатель ЖКХ Кочетов Валерий Павлович, председатель собеса Валентина Ивановна, первый замглавы Анатолий Михалыч Суриков, ваш юрист Вольский, сам Фрол Петрович Чуриков, да и другие обращались несколько раз за последнюю неделю за помощью.
- Да ну?
- Вот вам и «да ну». Прямо эпидемия какая-то неизвестная на слуг народа напала.
- Издеваешься? — нахмурилась Курощупова.
- Что вы, Элеонора Дмитриевна, — устало отмахнулась врачиха, — очень нужно. Просто странно все как-то: температуры ни у кого нет, давление у большинства в пределах нормы, а в головах стучит неизвестно по какой причине. Мы ведь уже и анализы кое у кого из ваших взяли.
- И что?
- И ничего, — развела руками Крапивная. — Все в норме, все в порядке.
- А может, у вас там с оборудованием чего-нибудь того, с приборами? — вопросительно покосилась на тонометр Курощупова.
- Да все у нас в порядке с приборами, — вновь отмахнулась Крапивная и вдруг спокойно заозиралась по сторонам. — Это у вас тут явно что-то не в порядке.
- В смысле? — насторожилась Элеонора Дмитриевна.
- Так в том и смысле, что что-то неладное у вас тут происходит.
- Где «тут»?
- Ну, Элеонора Дмитриевна, тут — это значит тут, в администрации.
- Не поняла, — беспокойно заерзала в кресле Курощупова. — Объясни, Нина.
- Ну, я не знаю, — стушевалась врачиха. — Как-то неудобно вроде и говорить об этом.
- Говори, коль начала, — вмиг посуровела Элеонора Дмитриевна, почувствовав неуверенность в собеседнице.
- Не поймите меня неправильно, Элеонора Дмитриевна, но коль медицина объяснения вашей эпидемии дать не может, а мы дать его действительно не можем, то, видать, тут что-то другое замешано.
- Что «другое»? — вновь заерзала в кресле Курощупова.
- Ну, что-нибудь из параллельного мира, — выдохнула из себя Крапивная.
- Ты в своем уме, Нина? Ты прямо как моя Зинка, чушь городишь, — расхохоталась Курощупова и тут же схватилась за голову обеими руками, скорчив болезненную гримасу.
- Стучат? — сочувственно прошептала врачиха.
- Кто? — скривила рот архитекторша.
- Они, — показала глазами в дальний угол кабинета Крапивная.
- Тьфу ты! — повысила голос Курощупова. — Что за бред? Вот что, иди-ка ты, Нина, в свою поликлинику от греха подальше, а то ведь я для тебя сейчас «неотложку» вызову.
- На следующий день, лишь только Элеонора Дмитриевна вошла в свой кабинет, в голове у нее вновь раздалась барабанная дробь, и почти одновременно с ней зазвучал по селектору голос секретарши Зиночки:

— Элеонора Дмитриевна, вас просит Фрол Петрович к себе в кабинет через пять минут.

— Хорошо, Зина, уже иду.

В кабинете у главы районной администрации собрались все заместители Фрола Петровича и другие должностные лица.

— На повестке дня один вопрос, — пряча глаза в кипу бумаг, нерешительно начал Фрол Петрович. — И вопрос достаточно скользливый.

Все присутствующие настороженно посмотрели на своего руководителя.

— До меня дошли слухи, что у кое-кого из сотрудников нашей администрации постоянно стучит голова на рабочем месте, что, конечно же, мешает качественно работать и выполнять государственные планы.

За длинным столом прозвучал возмущенный ропот, и собравшиеся подозрительно стали коситься друг на друга.

— Тихо, товарищи господа, тихо! — поднял кверху руку Фрол Петрович. — Я не доказываю, что стучат именно ваши головы, но сигнал такой имеется, и я должен на него реагировать с мерами воздействия по данному стуку.

— Правильно, Фрол Петрович, — угодливо подал голос его первый зам Суриков. — Давно надо разобраться со всякими там бездельниками и тунеядцами. Глаза к вечеру залят, а с утра у них головы трещат, стуки мерещатся.

— Это ты на кого намекаешь? — вскочил со стула зав ЖКХ Кочетов, сверля мутными покрасневшими глазами Анатолия Михайловича. — На меня намекаешь?

— Почему сразу на тебя? У нас, что, кроме тебя, никого других нету? — завокнулся Суриков, боязливо придвигаясь поближе к Фролу Петровичу. — На стукачей я намекаю, которые стучат. Тьфу! На которых стучат. Тьфу! У которых все стучат.

— Это кто тут стукачи? — побагровел лицом прокурор района. — Это мы тут стукачи? Это у нас, что ли, все стучат? Вы это бросьте тут ваши грязные намеки! Это вам не сталинские времена.

— Ша, я сказал! — ударил по столу кулаком Фрол Петрович. — Не фиг тут демократить, развели базар-вокзал. Сейчас речь не о стукачах. Если б в этом смысле, то это тьфу, — каждый день такого стуку целая папка. И ничего, от этого голова не стучит. А вот стучит же сволочь какая-то, и так стучит, что прямо башка пухнет!

Все испуганно притихли, глядя на разъяренного шефа.

— Так о чем это я? — чуть сбавил тон Фрол Петрович, увидев съежившуюся аудиторию. — А, до меня также дошли стуки. Тьфу, слухи, что те, у кого головы постоянно стучат, уже обращались за помощью к врачам, и не только.

— А к кому еще? — осторожно полюбопытствовала председательша собеса Валентина Ивановна.

— К знахаркам, эстрасенсам, даже к колдунам и повитухам.

— А что, кто-то уже рожать от стука собрался? — ехидно прозвучало из-за стола. — Прямо чертовщина какая-то творится!

— Да, согласен, это черт знает что, — нахмурившись, продолжил Фрол Петрович, не заметив издевки. — И вот чтобы это «черт знает что» прекратить раз и навсегда, я решил пойти на главный шаг — вызвать МЧС и специалистов по полтергейсту, чтобы убрать эту проблему, пока она до области не дошла и до губернатора. Ему-то за чем наша головная боль? Согласны со мной, товарищи?

Лес рук взметнулся над столом.

— Единогласно.

После обеда все помещения администрации подверглись тщательному обследованию со стороны специалистов МЧС и каких-то загадочных людей во всем черном со странными приборчиками в руках, похожими на мини-пылесосы и мини-миксеры.

— Мы ничего не обнаружили, — отрапортовал через три часа Фролу Петровичу начальник МЧС и удалился.

— Есть явное наличие злобного полтергейста, завязанного на параллельные миры, — констатировали люди в черном. — Их присутствие выбивает ваших сотрудников из колеи, не дает им полноценно трудиться на благо района, доводит почти до истступления, до сумасшествия, до страха в глазах и ужаса в теле.

— И что же нам делать? — растерянно моргал глазами Фрол Петрович.

— Тут мы бессильны — слишком злобный полтергейст, практически дьявольский, очень ужасная аура. И самое главное: присутствие его ощущается везде, особенно в коридорах. Единственный совет: пригласите батюшку. Пусть он окропит святой водой помещения и молитвами изгонит бесов из администрации.

Весь вечер, всю ночь и все следующее утро приглашенный из церкви Николая Угодника отец Кирилл читал молитвы против бесовского присутствия. Ходя из кабинета в кабинет, батюшка кропил святой водой стены, не забывая при этом и о коридорах, на которые обратил особое внимание Фрол Петрович, давая указания священнику перед изгнанием дьявольского полтергейста.

К обеду стук в головах чиновников прекратился.

— Ну как съездил, Василич? — поинтересовались односельчане у сошедшего из рейсового автобуса хромого пенсионера. — Достучался до начальства?

— А, — безнадежно махнул рукой щуплый старик, опираясь на палку, — ну их всех к бесу, больше ноги моей там не будет! Две недели почем зря каждый день туда мотаюсь, а так ни до кого и не достучался.

— И то верно, стучаться к ним бесполезно. Сами сколько раз туда ездили то по одному, то по другому, и все без толку — нечего не добиться, будто не рядом живут, а где-то в параллельном мире. А ведь, помнится, при Советах такого и близко не было, чтоб не достучаться.

— Точно. При Советах по первому стуку реагировали. А сейчас... Одно слово — «полтергейст», как говорит моя старуха, — сплюнул на землю Василич и, опираясь на палку и прихрамывая, поковылял к своему убогому домишке.

ПОСЛЕДНЯЯ ДУРА

Алкоголик-инвалид Колька Цыган, хоть только-только подступил к шестому десятку, выглядел на все восемьдесят. Опираясь на самодельный костыль, ноги передвигал с трудом, голова постоянно тряслась, будто после сильнейшей контузии, руки ходили ходуном. Колькино небритое неделю землистое лицо напоминало перепеченное яблоко. Глаза — две узкие щелочки, бесцветные и вечно злые. Колька только и делал, что жаловался собутыльникам на несправедливую жизнь да на свои болячки, на вороватую власть да на жадных соседей. А вот на память не грешил: все обиды и несправедливости в голове хранил и никому их не прощал, и только случай подворачивался, тут же назад возвращал с большими процентами — кому сплетнями да наветами, кому вредительством да мелкими пакостями, а над слабыми так просто открыто издевался.

Особенно доставалось прежней «классухе» Цыгана, Александре Ивановне. Александра Ивановна была старше Кольки лет на пятнадцать и памятью очень страдала, сердечная. Зная этот недостаток, Колька ее возраст снивелировал до своего и тыкал ей при встречах, будто ровне.